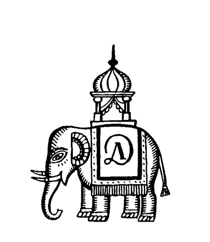
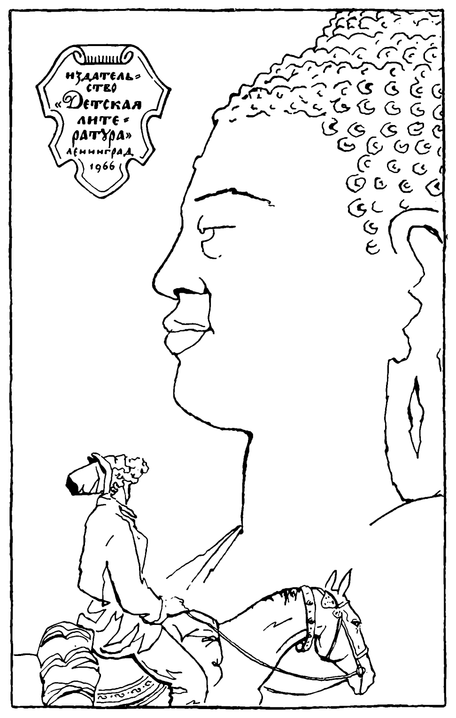
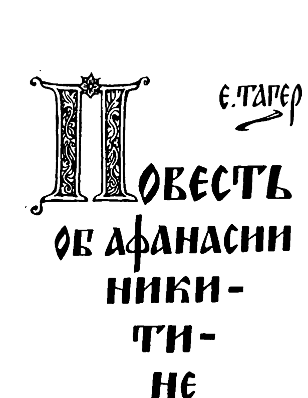

Е. Тагер
Повесть об Афанасии Никитине
Д




ИЗДАТЕЛЬ-
СТВО
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕ-
РАТУРА»
ЛЕНИНГРАД
1966


Е. ТАГЕР
ПОВЕСТЬ
ОБ АФАНАСИИ
НИКИ-
ТИ-
НЕ

91 (09П) + 91 (ИБ) Инд.
ТВ

Пятьсот лет назад тверской купец Афанасий Никитин — первым русским путешественником — попал за три моря, в далекую Индию. Около четырех лет пробыл он там и о том, что видел и узнал, оставил записки. По ним и написана эта повесть.

Рисунки В. А. Власова
Оформление Ю. Н. Киселева

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

БАЗАР В ОРМУЗЕ

Пятьсот лет тому назад солнце над землями юга сияло так же ярко, как и в наши дни, и летний зной был так же невыносим. Старинный персидский город Ормуз прямо сгорал от солнечного жара. Ормуз был построен на скалистом островке, в той части Индийского океана, которую теперь называют Персидским заливом. Дважды в сутки, в часы прилива, синие морские валы подступали к белым стенам Ормуза. Но от этого страшный зной ничуть не уменьшался. Каменистая почва раскалялась так, что припекало ноги. Перегретый воздух — горячий, сухой, как из печи, — не освежал, а обжигал гортань. Солнечные лучи слепили глаза... Небо над городом было темно-синее и прозрачное, как драгоценный камень сапфир, но никто не любовался им; мало того, в этом городе никто и не видел неба: жители натягивали над улицами широкие полотнища из ярких цветастых тканей — спасали себя от солнечного удара. А чтобы предохранить ноги от ожогов, сплошь застилали землю узорными коврами.

Надо еще сказать, что на островке не было ни реки, ни ручья, ни озера. Пресную воду в бочонках привозили на лодках с материка. На перекрестках Ормуза были вырыты водоемы-бассейны; в них-то и хранилась эта драгоценная, издалека доставленная пресная вода. А кто сильно хотел пить, — тот мог уплатить торговцу и купить себе стаканчик воды так же, как мы теперь покупаем стаканчик мороженого.

Жить в этих условиях было не так-то легко. Но горо-

жане любили свой Ормуз и гордились им. Вернее сказать, этим городом гордилась вся Персия (так тогда называлось государство Иран). Тогдашние персидские ученые утверждали, что если бы вся вселенная, весь огромный населенный мир был кольцом, то город Ормуз был бы камнем в этом кольце, — такой это был богатый, красивый, многолюдный и веселый город.

В синих водах Персидского залива водились жемчужницы — плоские двустворчатые ракушки; внутри их развиваются круглые жемчужины, с нежными переливами перламутра. Крупный ормузский жемчуг ценился повсюду; даже на далекой Руси румяные красавицы носили в серьгах и на шее сияющие бело-розовые «гурмызские зерна». Но не за одним только жемчугом приезжали сюда предприимчивые купцы: здесь велась обширная и разнообразная торговля. К скалистому островку то и дело приставали греческие белопарусные корабли, подплывали многовесельные китайские джонки; между ними, легко скользя по волнам, пробирались узкие индийские челноки. На застланных коврами улицах Ормуза пестрые халаты уроженцев Средней Азии мешались с желтыми одеждами египтян. Приземистый турок, сдвинув на самый затылок красную феску, приветствовал высокого смуглого араба в белом бурнусе; все они торопливо показывали друг другу яркие ткани, золотые украшения, серебряную посуду; все они громко хвастались, восхищались, торговались, менялись... Море шумело, люди кричали, лошади ржали. Лошадей было много; их охотно покупали, особенно индийские «гости» (купцы). В Индии не умели ухаживать за конями; не было подходящего корма, да и климат не годился для лошадей — они быстро там погибали. А спрос был большой — и на крепких рабочих тяжеловозов, и на резвых верховых скакунов, подходящих для войска. Толковый купец покупал в Ормузе хорошую степную лошадь за десять серебряных монет, переправлял ее морем в Индию и там продавал в десять, а то в пятьдесят раз дороже. Так что конский торг был очень выгоден. Поэтому в том углу ормузского базара, где выставляли на продажу коней, толпилось особенно много народу и не прекращались громогласные выкрики продавцов и споры на всех языках Востока.

Вот сюда-то, в этот шумный и душный закоулок,

крепко пропахший конским и человеческим потом, и пришел однажды необычный для Ормуза покупатель. Он был довольно высокого роста, широкоплеч, одет не по-здешнему — не в длинный, а в короткий кафтан с темными штанами; на ногах его красовались мягкие кожаные сапоги, на голове — чудна́я высокая войлочная шляпа с круто загнутыми полями. Целый день, нестерпимо жаркий и душный день солнечной весны 1469 года, этот загадочный покупатель безмолвно ходил по Ормузу; он поглядывал на людей, пристально присматривался к товарам, изредка кое-что потрогал, понюхал — и ничего не купил. В этой пестрой разноплеменной толпе на странного чужеземца обратили внимание. «Откуда он? — перешептывались базарные завсегдатаи.— Какая невиданная одежда! Какой белокожий! Какой светлоглазый! Верно, из очень далеких краев?..»

Один черномазый парень в полосатом драном халате, изловчившись, мимоходом сбил с чужеземца его высокую шляпу — и толпа, как один человек, ахнула при виде целой копны вьющихся соломенно-светлых волос. Но этот чужеземец с такой белой кожей и такими густыми золотистыми волосами, как видно, не любил, чтоб ему наступали на ногу. Круто повернувшись, он мигом схватил барашковую шапку со своего смуглого и черноглазого обидчика и, под сочувственный смех толпы, швырнул ее кверху. Шапка крепко ударилась о пестрый тканьевый потолок, всколыхнула там целое облако пыли и шлепнулась к ногам перепуганного владельца. Тот, не говоря ни слова, пустился бежать. Над ним хохотали, чужеземца громко хвалили. Старик в белой чалме и с белой бородой потрепал его по плечу. Незнакомец вежливо поклонился почтенному старику и пошел дальше. Никто больше не задевал его, а когда он подошел к лошадям — все перед ним расступились.

При виде статных продажных коней белокурый чужеземец оживился; его светлые глаза расширились, засверкали. Умелой рукой он раскрыл ближайшей лошади рот, пересчитал зубы; ловко приподнял ей ногу, осмотрел копыто. Продавцы поняли, что пришел настоящий покупатель, понимающий и дельный; к нему стали подводить отборных, самых лучших коней. Чужеземец облюбовал темного татарского жеребца с маленькой красивой головой, с тонкими ногами, с пышным хвостом.



— Какая цена? Только много не запрашивай, — сказал он медленно.

Эти слова были сказаны не по-турецки, не по-узбекски, не по-персидски, а на забавной смеси всех этих языков.

На такой смеси восточных языков в то время объяснялись между собой торговые люди разных стран. То был как бы условный язык путешественников и купцов. Этим условным языком, по-видимому, прекрасно владел чужеземец; он, должно быть, много ездил по разным странам и вел большие торговые дела. И понятливый продавец ответил ему приветливо, уважительно:

— Я рад, если мой конь понравился тебе, господин, и я отдам его тебе за...

Он назвал не слишком большую сумму. Но чужеземец, очевидно, хорошо знал торговые обычаи и считал

неприличным брать товар с первой названной цены. Он стал торговаться — без громкого крика, без лишних слов, но очень настойчиво и твердо. Они быстро поладили. Чужеземец вытащил из-за пазухи платок, развязал зубами тугой узелок и отдал продавцу десять серебряных арабских монет. Продавец попробовал монеты на зуб, позвенел ими о камень и, признав за настоящее серебро, опустил в карман. В свою очередь, он достал платок и обернул им конскую уздечку, чтоб передать покупку новому владельцу.

— Как имя его? — спросил покупатель на той же смеси восточных языков.

— Господин, зови его Дар ал Аман ради его кроткого и покорного нрава, — ответил на том же условном языке продавец. — И пусть это будет тебе памятью о том прекрасном острове, где ты его купил.

Дар ал Аман — Обитель Безопасности — так называли турки и персы остров Ормуз.

— Дар ал Аман, — медленно повторил чужеземец. И вдруг, сразу сбросив с себя важность и строгость, широко, добродушно улыбнулся. Не в силах скрыть своей радости, он крепко обнял коня за темную шею, глубоко вдохнул резкий запах конского пота и кожаной уздечки и ласково шепнул коню в самое ухо:

— Васька! Красавец ты мой... Васенька!

Глава II

НА ТАВЕ С КОНЕМ

На Индийском океане стояло затишье. Ветра не было. Волны не подымались. Поверхность моря была неподвижна, как будто вылита из сине-зеленого стекла. Она нестерпимо сверкала и, казалось, дышала зноем. Солнце палило нещадно. Мореходы изнемогали, им было нечем дышать. С ужасом и с отчаянием они смотрели на повисшие паруса и ждали хоть какого-нибудь, хоть самого слабого ветерка. А его не было и не было. И так целый месяц.

Большая лодка — по-местному тава, — перевозившая в Индию людей и лошадей, почти не двигалась с места. Неслыханный зной истомил путников. Даже лошади не

выдерживали. На таве их было десятка два. Вначале они метались, ржали, били копытами; через четыре недели пути притихли, опустили головы и тяжело, со всхлипом дышали.

— Эй, хозяин! Пропадет у тебя конь! — сказал перс-моряк, полуголый и загорелый до черноты, расталкивая неподвижного пассажира. Тот поднял голову и открыл глаза — светло-серые, большие, внимательные.

— Пропал твой конь, — повторил моряк, невольно смущенный этим пристальным ясным взглядом. — Отрежь заранее хвост ему.

— Зачем это? — спросил сероглазый путник, свободно, но как-то своеобразно выговаривая по-персидски.

— Предъявишь на берегу — с тебя меньше за перевоз возьмут, — толковал моряк. — В Индии скидку делают тому, кто лошадь привез. А если пала в пути, — надо показать хвост.

— Спасибо, друг, за совет. А пока обожду; жаль портить коня, — сказал решительно путник. И мягче добавил: — Гляди, еще он отдышится.

— Куда там! Он почти и не дышит, — пробормотал моряк, отходя.

Путник перевел взгляд на своего коня. Тот, видно, уже не мог стоять; он лежал на палубе, вытянув шею; он оскалил зубы и редко, с усилием, вздыхал. Путник опустился перед ним на колени. «Васенька, друг ты мой! — сказал он по-русски, мягким певучим говором. — Кончаешься, что ли? Может, еще поживешь?»

Конь, точно в ответ, громко всхрапнул. «Врешь, Васька! Не дам я тебе в пути помереть! — сказал ему хозяин. — Пей!» Он отвинтил крышку от серебряной фляжки, раздвинул коню зубы и вылил ему на язык глоток пресной воды. Конь дрогнул, проглотил воду и покосился на хозяина умным, осмысленным взглядом. «Как смотрит-то! Чисто человек! — сердечно, ласково говорил хозяин своим певучим говором. — Эх, Вася, Вася! Были бы мы с тобой дома, под Тверью, — повел бы я тебя в ночное... Там у нас ночи прохладны, луга росисты, травушка шелкова, сóчна... благодать! Отгулялся бы ты на славу. А тут — что? Солнце вáрно, человека сожжет; море нагрето — дышать нечем...» Конь прервал его легким фырканьем; ноздри у него расширились, задрожали.

В то же время двухмачтовая тава чуть качнулась и будто пошла быстрее. «Что это?! Васька, что ты фырчишь? Никак ветер чуешь? — заволновался хозяин. — Ветер и есть! Вон как закачало! Ну, теперь, брат мой, не горюй! Теперь доплывем!»

В самом деле, легкую таву качало все сильнее и сильнее. Старый перс — владелец судна — громко кричал, созывая людей. Полумертвые моряки зашевелились, вскочили, бросились к парусам, стараясь поймать в них ветер. Темная волна, высотой с гору, выросла внезапно за бортом и упала, обдав палубу пеной и брызгами. За ней — другая, третья... Тава уже не качалась на месте — она неслась, скользя с волны на волну.

Васькин хозяин стоял, выпрямившись во весь свой немалый рост, и зорко вглядывался в горизонт. Впереди была Индия — полная тайн и чудес, незнакомая, неизведанная страна...

Глава III

ИНДИЙСКИЙ БЕРЕГ

Шесть недель шли морем — но вот кончился утомительный путь, и русский путник сошел на индийскую землю. Это была морская пристань на Малабарском побережье Индии — гавань большого торгового города Чаула.

Васька был так слаб, так истомлен плаванием, что хозяин не решался на него сесть и побрел по городу, ведя коня в поводу.

Он дивился на каменные дворцы и башни причудливой постройки, на глиняные хижины бедняков, окруженные роскошными фруктовыми садами; любовался на базары, полные тканей, овощей и фруктов; засматривался на невиданные плоды и особенно на огромные кокосовые орехи.

И люди дивились на него, на белолицего человека. Первое время за ним следовало множество народу; потом, насмотревшись досыта на чужестранца, толпа любопытных рассеялась.

Его поражало, что местные жители — индийцы: темнокожие, смуглолицые — ходили почти нагишом. Кусок

ткани, обернутый вокруг бедер,— это был весь костюм взрослого мужчины. Даже женщины носили только легкую юбку, оставляя грудь открытой. Но на каждой женщине сверкали украшения из золота и драгоценных камней. Их носили и некоторые мужчины, а женщины — все без исключения; богатые — пышные роскошные ожерелья и замысловатые серьги из рубинов и изумрудов; бедные — ожерелья попроще, но обязательно хоть одну золотую цепочку на шее, золотые и серебряные кольца и браслеты на руках и на ногах. Видно было, что они очень дорожат этими украшениями, гордятся и соперничают ими друг перед другом. В то же время жалкие, почти пустые хижины доказывали, что большинство народа живет очень бедно.

Приглядевшись к этим черным полуголым людям, русский путник заметил, что среди них мелькают люди побелее кожей и получше одетые. Они держались очень гордо и важно и говорили на знакомом ему языке. Из разговоров он понял, что это все уроженцы Персии, персидской провинции Хоросан. «Видно, хоросанцы здесь начальство»,— пробормотал он про себя. И чем дольше, чем зорче вглядывался сероглазый чужеземец в незнакомый и новый быт, тем больше дивился он кротости и терпению, с каким индустанцы (индийцы) сносили свое бесправие и унижение.

Впрочем, когда его самого сочли за хоросанца, он не возражал: ему подумалось, что одинокому беззащитному путнику на чужой стороне гораздо безопаснее слыть одним из тех, кого здесь боятся и слушаются. И на вопрос об имени он назвал себя персидским именем: Юсуф. Так и стали его величать: ходжа (господин) Юсуф Хоросани. Ночь он провел в подворье для гостей: такие подворья — гостиницы для путешественников — попадались в Индии довольно часто: при выходе из каждого города или большого села.

Полуголый и черный староста подворья, с белой повязкой вокруг бедер, отвел Ваську в конюшню и попросил путника сдать на ночь оружие и деньги. В особой книге он записал: «Цель поездки — торговые дела; откуда прибыл — из Персии; имя приезжего — ходжа Юсуф Хоросани; как путешествует — на своем коне; конь его — темной масти; кличка — Дар ал Аман». Для важных случаев Васька сохранял свое пышное имя,

Полуголая и черная хозяйка или сторожиха подворья постлала господину Юсуфу Хоросани постель из душистых трав и приготовила ужин. Это была довольно легкая еда: вареная в масле морковь и вареный рис.

Васька получил на ночь немного моченого гороху и несколько мучных шариков с сахарным тростником.

После ужина усердная сторожиха вежливо пожелала господину Юсуфу Хоросани доброй ночи и заверила его, что он может спокойно почивать, так как грамапа (староста) будет всю ночь охранять покой путников.

Но путник не спешил на покой. Одолевая усталость, борясь с дремотой, он присел к бронзовому светильнику, достал из-за пазухи тетрадку — пачку серых листков толстой и неровной бумаги, скрепленных шнурком и обернутых куском синей ткани с белым набивным узором. Он отвязал от пояса медную чернильницу, заострил карманным ножом крепкое птичье перо — и со скрипом побежало белое перо по серой бумаге, вытягивая за собой длинные тонкие строки с завитушками и хвостами. И долго-долго следила любопытная сторожиха, как бумага покрывается сеткой непонятных, неразборчивых закорючек. Уважение к учености заставило женщину подбавить масла в светильник и рису в тарелку гостя. Но гость, светильник подвинув поближе, тарелку отставил как можно дальше — и все строчил, строчил... «Или нет на него усталости, — удивлялась про себя женщина, — или не смеет он оставить до завтра неотложное свое дело?»

А если б сторожиха умела читать, она бы не так еще удивилась: она бы разглядела, что белое перо оставляет на серой бумаге необычайные, невиданные следы. Это не была кудрявая вязь арабских или турецких букв, это не были ни причудливые значки древней индийской письменности, ни китайские квадратные иероглифы. Вряд ли кто в целой Индии смог бы распознать эти невиданные письмена или хотя бы назвать правильно язык, которому они принадлежали. Ведь в самодельную тетрадку путешественника ложился русский устав — искусный почерк русских грамотеев XV века. Таким почерком в далекой Москве писали приказные дьяки (секретари) свои деловые бумаги — описи, наказы и донесения. Таким почерком в русских монастырях ученые

историки того времени переписывали древние летописи, поучения мудрецов и жития святых.

Что же писал сероглазый путник? Донесение по службе? Или мудрое поучение для потомства? Ни то ни другое. Он писал для себя. Своим мелким, ровным, по-своему изящным почерком он заносил в тетрадку дневные наблюдения и впечатления: обычаи страны, нравы и внешность людей, повадки животных — все, что он разглядел, заметил, все, что врезалось ему в память, завладело мыслями.

Было далеко за полночь, когда бронзовый светильник угас. И тот, кого называли хоросанцем Юсуфом и кто на самом деле пришел в Индию с далекой Руси, заснул спокойно и сладко. Он ничего не боялся, и его не беспокоило то, что он находится за тысячи верст от своей родимой земли и что во всей этой чужой, удивительной, обширной стране у него только и есть одно близкое существо — его резвый и статный конь Васька.

Глава IV

ВАСЬКУ ОТНЯЛИ

Вот уже позади остался богатый приморский город Чаул; светлокудрый путник со своим неразлучным Васькой идет дальше, все дальше по индийской стране. Восемь дней шли от Чаула до индийского города Пали; от Пали до города Умри десять дней; и еще шесть дней от Умри до города Джунира. В Джунире пришлось надолго прервать путешествие: захватила индийская зима. Много дивился путник, что в индийской земле зимнее время не холодное, а дождливое: льет с неба как из ведра и день, и ночь... Под дождь индийские крестьяне готовили землю к посеву, под дождь сеяли пшеницу, горох и овощи. Лил дождь потоками, лил немилосердно. Целых два месяца не выбраться было из Джунира.

— Васька! Ведь ты, друг ты мой, сто рублей мне уже стоишь. Шутка ли? Доходу никакого, один расход. Торговать тут нечем. Кабы погода, — идти бы нам с тобой дальше по индийской земле; мы бы хоть свету белого посмотрели, да, может, на дешевый товар набрели бы. Так ведь дожди не пускают... Экое божье немило-

сердие! Куда ни глянешь — грязь да вода. Вот беда пристигла!

Так плакался Васькин хозяин. А Васька, все терпеливо выслушав, тихонько пофыркивал, косил умным темным глазом да потягивал хозяйский рукав осторожными мягкими губами. Вконец истомился бы хозяин, если бы не конская ласка; словно бы легче от нее на душе: «Экой ведь конь утешный!» — бормочет путник и в сотый раз треплет густую Васькину гриву. А дожди все льют, льют, льют...

Мало того, что тоска извела, — пришло на смену прямое горе: султановы стражники увели Ваську.

Вне себя побежал хозяин на султанову конюшню; заперли Ваську за крепкой стеной, и непрестанно чудится Афанасию его голодное ржание. Стражники — голые, черные, всей одежды только что по бедрам обернуто полотенце, другое обмотано вокруг головы, третье на плечах — толком ничего не скажут, а знай себе грозят оружием: у каждого сабля, кинжал, копье; у иных луки да стрелы, у других мечи да щиты в руках, — много с ними не поговоришь. Васькин хозяин и ругался, и жаловался, и просил, и молил; да уж когда догадался сунуть одному-другому по серебряной монете, — тогда лишь подобрели стражники, допустили пред ханские очи. Царский дворец раззолочен; стоит, словно крепость, на высокой каменной скале среди города. Хан — хоросанец, телом белый и одет по-людски: сорочка, штаны, кафтан. А голова все равно заболтана белой тканью, другой кусок обернут вокруг плеч, третий — по поясу. За поясом золотой нож, ручка усажена жемчугом. Борода у хана крашена в рыжий цвет, глаза ястребиные. Сидит владыка на серебряном стуле, за стулом князья-бояре, тоже в сорочках, в штанах, в кафтанах, тоже головы закутаны белой фатой, другая по плечам, третьею опоясаны, а за поясом сабли. А перед ханским сиденьем — музыканты дудят, индийские девки пляшут, стражники оружием бренчат... Ну, как тут докричаться?

Поднял руку хан — шум приутих. Посмотрел ястребиным взглядом, спросил по-персидски: «На что приносишь жалобу, хоросанец?»

Не растерялся Васькин хозяин, да, не показав страху, держит хану ответ чистым персидским языком — откуда что берется!

— Милостивый и солнцу подобный царь! Меня напрасно зовут хоросанцем. Я пришел на богатую Индию из далекой страны Русии, из великого и славного города Твери. Там я был не последний среди торговых людей и звали меня Афанасий Никитин. В поисках торгового счастья поднялся я в путь за три моря, но не встретил удачи на индийской земле. Нужных для меня товаров не оказалось. А теперь твои люди, нарушив обычай гостеприимства, отняли у меня верховую лошадь. На это и жалуюсь тебе, защитник закона, царь милостивый, солнцу подобный...

Хан призадумался:

— Далекий же путь сделал ты, Афанасий Никитин! Про русскую землю слышали мы, а вот города Твери — не знаем... Теперь ответь нам на важный вопрос: известно ли тебе, что в наших владениях установлен закон: кто хочет здесь торговать, тот должен не по имени, а поистине стать хоросанцем, принять нашу святую Мухамедову веру. Тогда и жалобу твою по порядку рассмотрим, и всякую помощь тебе окажем. А пока не принял нашей веры, — нет тебе законной защиты.

Никитин поклонился:

— Не гневайся на меня, царь царей! Я такого закона не знаю, и никто меня не предупредил о нем. Отказаться же от своей веры не могу; умру в той вере, в какой родился. Ведь это все равно что отказаться от родины, от Руси, перестать быть русским человеком. На это я не способен. Казнить меня можно, а на измену склонить нельзя.

Хан затопал ногами, ястребиные глаза позеленели, рыжая борода стала дыбом.

— Червь презренный! Дерзкая собака! Тупой упрямый осел! — заорал он по-персидски, по-арабски и по-турецки. — Четыре дня тебе сроку! Примешь нашу истинную веру, — верну коня и тысячу золотых дам на торговлю; не примешь — не видать тебе коня и тысячу золотых возьму с твоей глупой головы. Ответишь за нарушение закона!

Русский ахнул.

— Царь-государь! Да укротится сердце твое, да прояснится разум! Откуда мне, бедному страннику, собрать тысячу золотых? И за что я лишусь коня? Продать его — моя последняя надежда!

— Замолчи, безголовый! — грянули со всех сторон хоросанцы. А индийцы-воины, по знаку царской руки, стали подталкивать неудачливого жалобщика к самым дверям — да все крепче, все настойчивее. Сам уж не помнил русский купец, как очутился за порогом, в расписанных золотом сенях...

Три дня метался Афанасий Никитин по городу Джуниру, искал денег и поручителей. Ничего и никого не нашел.

Один день оставался до срока. Не спавший, не евший, бродил злополучный купец у царских конюшен, все прислушивался: не слыхать ли Васькина ржания? И вдруг, как с неба, знакомый голос окликает его по-персидски:

— Афанази-ходжа! Эй, друг! Тебя ли я вижу?

Протер глаза Афанасий: сон, что ли? Или видение? Чудо?

В богатом халате, верхом на добром коне, поглаживая надушенную, расчесанную красноватую бороду, медленным шажком едет по улице старый знакомый — Мухамед, хоросанский купец. С ним дружили в Персии. Он-то и указал Афанасию дорогу в индостанские земли и наплел небылиц про дешевые индийские товары. Он-то и научил привезти в Индию на продажу коня. Он-то, ежели разобраться, и всего Афанасьева горя виновник...

— Мухамед-ходжа! Будь друг! Помоги! Выручи из лихой беды! Дай взаймы тысячу золотых!

— Ай, много! Зачем столько?.. А, вот что. Вот как... Да, да. Нехорошо получилось. Ну, ничего, не горюй, друг Афанази.

— Друг Мухамед! Даешь тысячу?

— Ну, зачем... Тысячи у меня нет. Тысячу тебе даст хан... если сделаешь по его повелению.

— Что? Переменить веру? От родной Руси отказаться?

— Эх, Афанази! До Руси еще надо три моря плыть. А тысячу золотых — хан тебе завтра же в руки...

— Не говори! Слушать не хочу!

— Ай, беда... Вот это хуже всего, когда человек слушать не хочет.

— Что ж мне теперь? Топиться?

— Ну, зачем топиться... Умереть всегда успеешь.

Лучше я поеду, хана попрошу. Он мне много должен за товары. Дам отсрочку — смягчится ханово сердце.

— Друг истинный! Добрая душа! Уломай его, рыжего черта. Когда-нибудь и я тебе пригожусь...

— Ну, зачем хана ругать? Его дело царское. Поеду, поклонюсь. Три года отсрочки дам. Это средство верное.

Верное средство помогло. На другой день Афанасий Никитин, оседлав похудевшего Ваську, рысцой выезжал за узорные городские ворота. Жалко ему было гнать голодного коня, но уж больно надоел ненавистный Джунир, не терпелось с ним развязаться. К тому же и дождь шел на убыль.

— Зачем торопишься? — уговаривал Мухамед. — Дожди скоро кончатся. Поживем в Джунире, — познакомлю тебя со здешним купечеством, дела сделаем... Хан теперь тебя любит...

— Спасибо тебе, Мухамед-ходжа! Век не забуду твоей услуги!.. Только ты меня не унимай, — твердил Афанасий. — Не могу я этого города видеть. Жители здесь все злодеи, женщины — бесстыдницы, кругом ложь, воровство, разбой...

— Ну, зачем так говоришь? Ты еще ничего не видал. Поживешь побольше, — другое скажешь, — возражал хоросанец.

— Нет, Мухамед-ходжа! Нет, друг ты мой добрый! — повторял Афанасий Никитин. — Нечего мне, торговому гостю, здесь делать. Обманули псы-хоросанцы; насказали небылиц, будто всякий товар здесь дешев. А нет для нас годного ничего...

— Ай, ай! Неладно мыслишь, Афанази-ходжа! Не псы тебя учили, — я тебя учил торговать. Здесь черный перец дешев и лаки, красная краска дешева. Отвези на Русь — богатый будешь, — терпеливо толковал добродушный Мухамед.

Афанасий в раздумье качал головой.

— Правда твоя, перец дешев и краска дешева. А не ближний путь. Пока до Руси довезу — сколь пошлин переплачу! И по морям разбойники рыщут, торговых людей грабят...

— Несчастья бояться — счастья не видать. Торговому гостю грабители не помеха, — рассуждал Мухамед, поглаживая крашеную душистую бороду. — Хочешь большого богатства, — не бойся большого пути.

— Верю, верю тебе. Только ни дня здесь не останусь. Спасибо, друг, за все — и прощай, прощай... Ну, Васенька! Шагай, не робей! Вышагивай! Пойдем теперь на город Бидар. Что было — видали, что будет — увидим.

Васька потряхивал головой и бодро шагал по незнакомой дороге.

Глава V

ЗЕМЛЯ ИНДОСТАНА

Вот уже месяц шел Афанасий Никитин по неведомым путям, по неведомой стороне. Иногда садился на Ваську верхом, а больше вел его в поводу, боясь измучить коня. Русский путник не мог надивиться — как неудержимо оживала, хорошела индийская земля. Кончился период дождей; их волшебная сила исцелила почву, пересохшую от жажды, и на глазах прохожего унылые сухие равнины превращались в цветущий и сочный сад. Земля покрылась пестрым ковром цветов; немолчной музыкой заиграли быстрые ручьи. Не раз случалось Афанасию подсмотреть, как важно гуляют по зеленой долине яркоперые разноцветные птицы, задумчиво, деловито набирая в изогнутый клюв прозрачную воду; и только топот Васькиных копыт заставляет их неторопливо вспорхнуть или просто перебежать на другую сторону ручья. «Смотри-ка! Нисколь не пуганые! — указывал Афанасий Ваське. — А цветастые! Ровно в сказке: на ветвях сидят птицы райские, поют песни царские. До сказочных краев добрели мы, Вася, с тобой!» Васька круто гнул шею и косился большим черным глазом на непуганых птиц. А птицы кричали зловеще, пронзительно — на царские песни отнюдь не похоже, — и перья у них переливались зеленым, красным, синим и желтым. «Ну, красота! Ах, и красота же! — не унимался Афанасий. — Эх, изловить бы парочку... на Русь бы отвезти... Стой, брат! А это кто же? — перебивал он себя. — Зверьки такие? Али людцы-человечцы? Гляди-ка, гляди, до чего уродствуют!» Мелкие длиннохвостые обезьяны бесстрашно выбегали на дорогу, кувыркались, смеялись, сверкая белыми зубками, дразнились, грозились, а то и швыряли в путника орехом, бананом. Афанасий сперва

обижался, потом привык. Порой на смену обезьянам появлялись из лесу доверчивые газели с красивыми, как у женщин, черными большими глазами. Не сводя с всадника кроткого взгляда, они бежали следом за Васькой, выхватывали на бегу кусочки лепешки из рук Афанасия. «Гляди, какие добродушные! — умилялся тот. — Будь поближе, отвез бы я эдакую козочку в Тверь, сестренке Дунюшке подарил бы — она у нас до всякой скотины охоча...» И глаза его омрачала неодолимая грусть — спутница светлых воспоминаний.

На пути нередко попадались сложенные из камня многоярусные постройки и огромные каменные статуи с непонятными надписями. Это были индийские монастыри с древними памятниками. Афанасий дивился, как густо Индия населена. «В день встречалось по три города, а в иной день и по четыре, — записал он в заветной тетрадке. — Сколько ковов, столько и городов». Ков — Афанасий запомнил это слово — означал переход в 10 верст (по нашему счету — 12 километров). Он записал также, что «земля весьма многолюдна». Позади осталось много больших городов и без числа малых деревушек; и даже в малых деревушках, не говоря уж о больших городах, всюду он видел отличных умельцев, искусных рукодельных людей. Миновал он такие деревни, где все жители сплошь занимались одним ремеслом: деревня кузнецов, деревня плотников, деревня горшечников; до тысячи семейств существовали одним делом, соперничая друг с другом в красоте и четкости работы. Проходил он и кипящие жизнью города, где неутомимые ткачи, прядильщики, красильщики, оружейники на глазах у прохожих вырабатывали несказанной красоты шелка, парчу, вышивки, ковры, покрывала, чеканное оружие, расписную посуду. Встречались на пути Афанасия великолепные сады и парки; а в городах он видел множество лавок зеленщиков, торговцев фруктами и цветами; и дивился путник пристрастию индийцев к цветочным гирляндам, и любовался, как черноокие девушки быстро, красиво и ловко плетут своими длинными пальцами пышные и яркие венки.

Видел он, как индийские люди перегоняют вино из фруктов, из сахарного тростника. Видел, как варят несложные кушанья из риса, пшеницы, проса и кукурузы, как готовят благовонные мази, духи, притирания из цве-

тов и из трав, сандаловую краску и пудру — из коры сандалового дерева, лекарственные снадобья — из незнакомых пахучих корней и стеблей.

Видел, как учителя обучают детей под открытым небом, выводя палочкой на песке рисунки, буквы и знаки. Видел, как — тоже под открытым небом — лечат врачи, оперируют хирурги, как, громко хваля свой товар, норовят всюду поспеть разносчики и торговцы, как достигают высшего в своем деле совершенства музыканты, актеры, танцоры, жонглеры, акробаты, показчики кукольных театров... Видел все, и сердце его все больше переполнялось любовью к этому искусному, усердному, трудолюбивому и красотолюбивому народу.

Идти было легко: дороги содержались исправно, часто попадались постоялые дворы, а кое-где и больницы для путников. Язык хинду оказался близок к персидскому, и Афанасий быстро им овладел; он уже мог вести довольно сложные разговоры с местными жителями. Он запомнил много мудрых изречений, услышал много древних преданий. И глубокое уважение к этому мудрому, памятливому, мыслящему, благородному народу все более овладевало его душой.

Глава VI

В ГОРОДЕ БИДАРЕ

Намеченный путь близился к концу; вдали на розовом вечереющем небе обозначились темные стены и башни — это виднелся Бидар, большой древний город, столица южноиндийского государства Декан. В Бидаре положил себе Афанасий сделать остановку; здесь, по слухам, многолюдны базары, богаты купцы — можно будет поразузнать про товары, про цены: авось и удастся что-нибудь закупить. Пора уж, пора бы делом заняться! Деньги на исходе, а пропитание в дороге недешево стоит. «Один я человек, — записал Афанасий в своей тетрадке, — но в день на еду идет по два с половиной алтына. Да еще ни вина, ни меду не пробовал... Жить в Индостане — значит израсходовать все, что имеешь». Ваську прокормить — тоже расход оказался немалый. «Разоритель ты мой! — ворчал Афанасий, похлопывая коня по крутой шее. — Год кормлю тебя, шестьдесят во-

семь футунов на тебя издержал... А продавать неохота. Настоящей цены не дают, задешево не уступлю». Конь пофыркивал, чуя, что близок отдых.

— Где бы, и в самом деле, передохнуть? — Афанасий оглянулся. Незаметно для себя они с Васькой вступили в предместье Бидара. Высокие многоярусные дворцы и башни — крыша колоколом — отодвинулись далеко вперед, туда, где догорал красный закат. А вблизи, кругом, обагренные вечерней зарей, стояли врассыпную только бедные хижины, такие же невзрачные, как в индийских деревнях: низенькие строения со стенами, ровно обмазанными глиной, со светлыми плоскими крышами. Первоначально Афанасий думал, что лачуги эти крыты соломой, как родные русские избы; теперь он знал, что эти светлые кровли сделаны из волокон пальмового листа, уложенных ровными связками. Кровля выступала далеко над стенами дома и краями опиралась на ровные точеные столбики так, что каждое строение было окружено галерейкой, вроде открытых сеней. Между хижинами виднелись колодцы с высоким шестом — ни дать ни взять наши волжские «журавли»! — но вскоре Афанасий разглядел, что к индийским колодцам были подведены длинные деревянные желобы; туда опрокидывались поднятые ведра, и по ним колодезная вода бежала прямо в сады. «Ох, мудрый народ! Ох, народ работящий!» — улыбнулся было Афанасий, и тут же улыбка угасла: вытянувшись вдоль по краю желоба и опустив в желоб маленькую головку, спокойно пила свежую воду огромная — длиною в сажень — блестящая и черная змея. Не успел путник опомниться, как снова увидел змею, еще длиннее первой. Такая же черная и блестящая, она свешивалась над самым колодцем, обвив хвост вокруг подъемного шеста, а ее маленькая плоская головка качалась в воздухе и с бешеной быстротой то показывала, то прятала длинный и темный раздвоенный язык. «Ну, что это! Ну, это уж совсем ни к чему!» — озадаченно бормотал путник и, крепко ухватив коня за повод, настойчиво тянул его в малолюдный темный переулок. Они быстро прошли сотню-другую шагов, и почти под ногами лошади промелькнула третья, такая же огромная змея; она неторопливо ползла через дорогу, ничуть не пугаясь при виде человека.

— Змеи ходят по улицам! А длина две сажени... —

повторял Афанасий негодующе. Он все не мог успокоиться, все вздрагивал, когда длинные тени, едва различимые в темноте наступившей ночи, с тихим шелестом скользили из-под самых его ног, стремясь к середине улицы... Но вот появились новые тени; они возникали из темной глубины сада и мелькали высоко над головой; обликом своим они смутно напоминали детей, но это не могли быть дети: слишком легко и неутомимо они перебирались с ветки на ветку, с дерева на дерево; иногда ловкий прыжок, подобный полету, переносил их на другую сторону улицы — и там, схватившись руками за высокую ветку, они долго качались и играли, и негромко повизгивали, словно смеясь нелюдским смехом.

Вот одна темная тень, ростом и видом как тщедушный трехлетний ребенок, мягко спрыгнула с дерева, побежала вдоль сада, мимо дома, юркнула за угол; вот раздался оглушительный птичий крик; должно быть, крупная курица отчаянно закудахтала, заклохтала. Проворная маленькая тень вывернулась из-за угла и в два прыжка очутилась на вершине старого дерева баньян, как сетью опутанного пышными воздушными корнями. Пронзительный курицын голос слышался теперь сверху, с вершины баньяна; вот он смолк, наконец, и только по тому, как белые перья дождем посыпались с высоты, застревая в воздушных корнях, можно было понять, что случилось. «Обезьяны кур ловят!» — молвил Афанасий. А на смену куриным воплям послышался злобный и горестный женский плач. Хозяйка погибшей курицы оплакивала свою потерю.

Афанасий прикинул в уме: может, попроситься к ней на ночлег? Женщина причитала и вопила без умолку. «Нет, — решил Афанасий, — сейчас лучше к ней не соваться: она и слушать не станет». Он застегнулся, подтянул потуже пояс, ухватил коня за гриву, промолвил: «Держись, Васюха!» — и вскочил верхом. Васька бодрым шагом двинулся вдоль по темной улице.

— Вишь ты, дело-то как обернулось! — рассуждал вслух Афанасий. — Ни постоялого двора, ни подворья какого... Где же мы ноченьку коротать будем? Эх ты, ночка темная, ночь бесприютная... А здесь, поди, и разбойники водятся?.. Куда ж это мы, Вася, с тобой забрели?

Конь шагал и шагал — мимо густых и темных садов,

мимо глиняных и низеньких лачужек. Неумолчно трещали цикады. Сладостным запахом ночных цветов обдавали путника темные сады, и этот одуряющий запах становился все явственнее, все крепче. Конь шагал и шагал, а в глиняных домиках ни одного огонька не мелькнуло, никакого голоса не послышалось. Рабочий люд, как видно, спал крепким сном после долгого трудного дня. К земному безмолвию чутко прислушивались огромные чистые звезды.

— Ты гляди, как вызвездило! — сообщал Афанасий безответному Ваське свои непрерывные наблюдения. — А звезды-то, звезды, гляди, не по-нашему взошли. Нет, нет, не по-нашему! Волосыни-то где стоят? А Лось куда глядит? — он указывал на Плеяды и на Большую Медведицу. — Гляди-ка, гляди, — куда он хвост повернул? На восток, вот ведь куда!

— А что же это на востоке забелелось? — продолжал путник свои настойчивые расспросы, как будто не сомневался, что конь способен ответить. — Никак месяц хочет взойти? Ну да. Всходит он, всходит, батюшка. Вот и славно, — ночка-то месячна будет!

Афанасий не ошибся. Через полчаса лунный свет голубым серебром залил дорогу, дома и деревья. Мягкие волны этого волшебного света словно смыли с души всякий страх. Обезьяны и змеи уже не казались опасными. Баньяновые деревья уже не глядели такими пугалами в густой путанице своих воздушных корней. А маленькие глиняные домишки с открытыми галерейками и плоскими крышами были загадочны и безмолвны, как в сказке.

Глава VII

ЛУННОЙ НОЧЬЮ

В тишине лунной ночи, под мерный топот Васькиных копыт, Афанасий не то забылся, не то задремал в седле. Ему уже не на шутку мерещилось, что все кругом глядит не по-настоящему, а по-сказочному: что и месяц-то вылит из чистого серебра, что и домики заколдованы, что и сам-то он, Афанасий Никитин, не своей волей попал за три моря, на самый край света, — и что совершает он, как во сне или в сказке, какой-то немыслимый

подвиг, исполняет чье-то немилосердное повеление — и нельзя ему, Афанасию, от этого подвига уклониться, и должен он, хоть душа вон, повеление это исполнить. Так ему примечталось или привиделось, — а Васька все шагал мерным шагом, а сонный всадник все не выпускал поводьев, все держался на широкой конской спине.

Пробуждение было так внезапно, что он чуть не свалился с коня, но тут же выпрямился, и подобрался, и крепче перехватил поводья. Его разбудил пронзительный крик — звонкий детский голос, полный горя, ужаса и мольбы. Когда крик повторился, Афанасий молча ударил Ваську по шее кулаком, сжал ему брюхо ногами — и поскакал изо всей конской мочи туда, где вопил, куда призывал отчаянный детский голос.

Еще издали он увидел в ярком лунном свете, что посреди улицы катались в пыли, обхватив друг друга руками и ногами, за что-то боролись и что-то один у другого отнимали двое темнокожих детей. Один ребенок, задыхаясь от слез, выкрикивал «Калабинга! Калабинга!» Другой отрывисто и злобно повизгивал. Подъехав к ним вплотную, Афанасий понял свою ошибку: это были не двое детей — это голенькая девочка лет семи отважно боролась с большой обезьяной. Вот обезьяна вырвалась из детских рук и кинулась наутек. Тоненькая девочка пустилась за ней, крича и плача. Но тут же споткнулась, упала и забилась на земле с тем же тщетным и горьким призывом: «Калабинга! Калабинга!»

Обезьяна бежала на трех лапах, четвертую прижав к волосатой груди. Проворная и легкая, она неслась, как ветром подхваченная, но вскарабкаться на дерево не попробовала: вероятно, ей мешало то, что ее правая передняя рука была занята. Как ни быстро мчалась обезьяна, крупная лошадиная рысь оказалась быстрее; Афанасий скоро обогнал беглянку и очутился с нею лицом к лицу. Никакого оружия у него не было, ни дубинки, ни палки; он на скаку сорвал с головы тяжелую валяную шляпу и почти наугад, не целясь, метнул ею в обезьяну. Шляпа ударила зверька по глазам. От испуга или от боли обезьяна громко взвизгнула, бросила свою добычу и прыгнула на ближайшую крышу. Афанасий соскочил с лошади, наклонился над крохотным живым комочком; на земле трепетал измятыми крылышками полузадушенный воробей.

Бережно подобрав оглушенную птичку, Афанасий положил ее в шляпу и вернулся к покинутой девочке. Девочка после борьбы и слез, очевидно, совсем обессилела; поджав ножки, она сидела на траве; в ярком лунном свете ее тоненькое личико с прямыми черными бровями было все залито слезами. Она повторяла горестно, негромко: «Калабинга! Калабинга!»

— Вот тебе твоя Калабинга! — сказал Афанасий и вытряхнул птичку из шляпы прямо в руки девочке. Снова раздался пронзительный вопль, но на этот раз он был полон радости и восторга. Девочка целовала спасенного воробья, прижимала к худенькой груди, гладила, расправляла ему крылышки своими тонкими пальчиками.

— Аюшмет! Архат! Бхагоowат! — с жаром говорила она Афанасию. И как ни мало он знал язык хиндустани, все же понял, что девочка называет его храбрейшим, святым и благословенным.

— Эх ты, Калабинга! — Афанасий сурово и смущенно смеялся. — Воробышек ты мой малый! Архат, говоришь? А нынче архату твоему и на ночь притулиться негде. Хоть бы ты мне сказала, где, мол, тут у вас странноприимный дом? Дхарма-сала — понимаешь, нет? Ну, бонгха-сала, — где путники пристают? Ну, караван-сарай? Опять не поняла? Беда мне с тобой... А сама-то где живешь? Ах ты, Дуня, Дуня, дитя мое непонятливое... Постой, а это что еще за насланье? Разбойники, что ль? Аль, может, добрые люди?

На перекрестке пустых темных улиц мелькнул красноватый свет, раздались мужские голоса. Девочка с испугу вся замерла. Васька заржал — ему отозвалась чужая лошадь. Мужские голоса и тусклый красноватый свет быстро приближались. Слышался конский топот.

— Эх, будь что будет! — сказал Афанасий. — Двум смертям не бывать, а одной никак не миновать. Ускакать — все равно уже не ускачешь. Да и некуда. А разбойники, я чаю, с огнем разъезжать не станут.

Он оказался прав. Два вооруженных всадника с дымящимся факелом были не разбойники, а ночная стража города Бидара. Осветив и рассмотрев Афанасия, они спокойно и вежливо осведомились: кто он, откуда и чего ищет в городе ночью? На вопрос о ночлеге объяснили, что по повелению правителя города, великого везира Мелик-ат-Тучара, поблизости открыта большая пантха-

сала (приют для приезжих) и что они с радостью проводят туда чужестранца.

— Калабинга! — позвал Афанасий. — Эй, сестрица, Дунюшка! Да никак тебя, голубка, и след простыл?

Пока он объяснялся со стражей, испуганная девочка, прижав к груди воробышка, скользнула в тень соседнего сада.

Один стражник взял Ваську за повод, другой, пригнув факел к земле, освещал дорогу. Через несколько минут Афанасий уже стучался в двери «приюта приезжих». Пантха-сала была почти пуста. Сторож приюта показал пришельцу постель из душистых трав. Страшная слабость охватила Афанасия, все его мощное тело, как свинцом, налилось усталостью. Он растянулся на душистом ложе — и, словно в черную воду, весь вошел в непробудный сон. Над пальмовой крышей низко мерцали крупные частые звезды; чернобровое смуглое личико, тонкие темные руки скрылись — растаяли в лунных лучах. Афанасию снились другие звезды — они стояли по-другому и не так алмазно мерцали, но какие же это были ясные, какие приветные мирные русские звезды! Снилось другое личико — тоже с тонкими черными бровями, только не смуглое, а белое-белое; сероглазое ясное личико и ласковые белые ручки сестрицы Дунюшки. Сладкий сон обогрел скитальца, унес бездомного на далекую родину, в милую сердцу деревянную Тверь.

Глава VIII

ВСТРЕЧА НА БАЗАРЕ

Настало солнечное утро. Жгучее солнце Индии будто выжгло до дна все смутные мечтания, все сонные ночные видения. Сказка кончилась. Афанасий Никитин был снова торговый человек, смышленый купец, зоркий и любознательный путешественник. Спозаранок он ходил по базару, — а в Бидаре базар был так же многолюден и шумен, так же богат и обилен, как раньше, в Джунаре (а еще раньше — в Ормузе) и как в любом большом городе Востока: хоросанском, персидском, индийском — где бы русский гость ни побывал.

Сжимая в руках заветную тетрадку, Афанасий Никитин пробирался в толпе. Он старался не заглядывать-

ся на полупрозрачные блюда с дивно расписанными эмалью и глазурью изображениями индийских танцовщиц; принуждал себя не любоваться дорогим оружием, на котором в хитрой чеканке сплетались головы львов, хвосты змей и крылья попугаев; подавлял желание подивиться на чудноузорчатые ткани, отливающие золотом, серебром и разноцветным шелком. Он разузнавал только цены на те товары, которые могли бы пригодиться для русского рынка. В тетрадке появились заметки о торговле синей краской индиго, красной краской лек; записал он себе цены на перец, на гвоздику, на мускатный орех, на инбирь, а также на местную дешевую соль... Его поразило, что на индийском базаре шла открытая торговля людьми: чернокожие рабы и рабыни продавались запросто, наравне со всяким другим товаром. Из расспросов Афанасий узнал, что эти люди были взяты в плен и обращены в рабство во время бесконечных войн между индийскими государствами. Он занес и это в свою тетрадку, с тем чтоб при случае расспросить об этих делах поподробнее.

Время шло к полудню, нестерпимо жгучее солнце встало прямо над головой. От жара и усталости Афанасий еле передвигал ноги; в висках ломило, в глазах темнело; он уже с трудом подбирал слова для вопросов и почти не понимал, что ему отвечают. «О, ва́рное солнце! Человека сожжет... Опахалом бы хоть опахнуться!» — сказал он себе и повернул в тот конец базара, где сидели на земле плетельщики, разложив перед собой свои изделия, сработанные из крепких волокон пальмового листа: красивые корзины, прочную посуду, плотные циновки, пестрые коврики, зонты, веера... Афанасию полюбился огромный веер, мелко и очень искусно сплетенный из тончайших пальмовых волокон. «Сколько ж надо времени, чтоб сплести такую вещь? — спросил он себя. — И сколько за нее выручает плетельщик? Наверное, немного: уж очень тощ, бедняга! Пожалуй, не всегда обедает досыта...»

Афанасий пристально разглядывал полуголого продавца плетеных изделий: худощавое темное тело индийца, его жилистые руки с длинными гибкими пальцами, точеные черты смуглого немолодого лица, красиво выгнутый нос, большие глаза под прямыми черными бровями. Афанасию понравилось поведение торговца: он

не цеплялся за покупателя, не расхваливал хрипло свои товары, не убеждал ни в чем, а спокойно и гордо ждал, и сам, в свою очередь, разглядывал чужестранца умным и пристальным взглядом. Очень этот человек приятен был Афанасию! Но почему же он словно чем-то знаком? Где же это довелось Афанасию видеть эти черные прямые брови? Когда же и где же встречался ему весь этот тонкий, красиво отточенный облик? Где и когда?

Дольше топтаться на месте, уставясь на незнакомого торговца, было бы непригоже. Афанасий с грехом пополам составил вопрос на языке хиндустани, вплетая в него персидские, арабские и узбекские слова. Ему хотелось знать, может ли плетельщик к завтрашнему дню сплести такое же опахало, но вдвое меньше. Будет ли вещь прочна? И сколько придется уплатить?

— Ничего не надо платить! Бери все, что тебе нравится! Все, все бери!

Это крикнула на языке хиндустани смуглая голенькая девочка. Отбросив большую разузоренную циновку, под которой она спасалась от палящего солнца, девочка обхватила отца тонкими и темными руками и, задыхаясь от волнения, что-то быстро-быстро ему толковала. Отец, видимо, хотел утешить, успокоить ребенка; он бережно разбирал ее спутанные черные волосы, осторожно и нежно гладил дрожащие руки, а девочка все толковала ему, все объясняла — и ужас, радость, смятение и восторг быстро сменялись на ее тонком и смуглом чернобровом личике.

— Калабинга! — закричал Афанасий. Так вот почему этот тощий индиец показался ему знакомым: у них — у отца и у дочери — одно лицо... Один взгляд, одинаковые брови...

— Вот ты где оказалась! А я и не знал, где тебя искать, — говорил он по-хоросански, от растерянности забыв все индийские слова. Девочка залилась целым потоком слез. Отец, приласкав, заставил ее умолкнуть.

— Калабинга погибла, господин, — сказал индиец, хорошо, видимо, владея хоросанской речью. — Ее слишком измяла злая обезьяна. Но благодаря тебе, господин, благодаря твоей смелости и доброте моя дочь могла похоронить своего любимца, как надлежит по законам нашей веры. Мы сожгли его крохотное тело и высыпали пепел в быструю реку Годавери. А светлая Го-

давери отнесет эту малую горсточку пепла в чистые воды священной реки Ганга.

— Она умерла! Калабинга умерла! — рыдала девочка. Отец покачал головой и медленно, серьезно заговорил на языке хиндустани:

— Разве ты не знаешь учения нашей веры: если тот, кто умер, сожжен и пепел его унесен волной священного Ганга, — он умер не вполне. Маленькая веселая птичка встретит тебя на пороге будущей жизни. И ты сможешь долго-долго радоваться на нее, не боясь злой обезьяны. Потому что всякая встреча есть начало разлуки, а всякая разлука — обещание возможной встречи.

Индиец говорил медленно и так выразительно, так убежденно, что Афанасий почти все понял. Все сильнее и сильнее нравились ему эти люди. Девочка усмехнулась сквозь слезы — и отец ответил ей просветленной и доброй улыбкой.

— Господин, — обратился он к Афанасию по-хоросански, — ты, как видно, впервые в нашем городе, и вряд ли у тебя здесь много знакомых.

— Я иду издалека, — сказал Афанасий. — Нет у меня здесь никого. Я очень устал, — прибавил он неожиданно для себя. — Сил моих нет. Уморился, — прошептал он по-русски.

— Посети нас, господин, — продолжал индиец, так же ласково и светло улыбаясь. — Сделай нам милость и окажи честь. Ты отозвался сердцем на горе моей дочки, ты стремился вернуть ребенку его утеху; теперь позволь нам отозваться сердцем на твое одиночество, позволь нам вернуть тебе твою бодрость и силу. Отдохни у нас. Будь нашим гостем.

— Я рад! Спасибо, спасибо! — повторял взволнованно Афанасий на всех известных ему языках.

Глава IX

ГНЕЗДО КАЛАБИНГИ

В глиняной хижине было очень чисто и прохладно, несмотря на то, что в домашнем очаге горел огонь.

Афанасия усадили лицом к востоку. Отец девочки тщательно расправил травяную подстилку так, чтобы

стебли травы лежали концами на север. Гостю поднесли теплую воду для омывания рук и ног и прохладную в чаше — для полоскания рта.

Хозяин певуче произнес на языке хиндустани:

— Да будут сладки нам травы! Ночь сладка, и сладки зори, сладок воздух земной, сладко небо, отец наш!

Говоря это, он готовил для посетителя почетное и лакомое угощение. В медном узорном блюде он смешал воду с медом и с кислым молоком, положил туда понемногу муки, крупы и пшеничных зерен, перемешал все это; небольшую часть вылил в огонь очага, а остальное покрыл другим медным блюдом и подал гостю со словами:

— Вот пища славы! Вот пища величия! Вот пища счастья!

В то же время к нему подбежала девочка и сзади охватила отца за пояс. А с полу поднялась стройная девичья фигурка, задвинула в угол большую крашеную прялку с целым набором пестрых веретен и легкой походкой приблизилась к очагу. В полумраке хижины просияло бледно-смуглое личико; из-под желтого сари — покрывала, укутавшего стан и одним концом наброшенного на голову, — мелькнули прямые черные брови. На тонких девичьих руках и ногах звякнули золотые браслеты. При последних словах отца девушка также коснулась его пояса. «Всей семьей угощают!» — смекнул Афанасий. По указанию хозяина он трижды встряхнул между двумя блюдами медовую смесь и трижды отведал ее. А потом низко, по-русски, поклонился отцу и обеим дочерям и, как умел, поблагодарил на их языке за честь и за ласку.

Хозяин промолвил:

— Трава, земля, вода и приветливое слово — эти четыре вещи не оскудевают в доме доброго. Почтим же милого гостя, одарив его приветствиями, землею, травою и водою.

— Как звать тебя, добрый человек? — спросил Афанасий, переходя на язык хоросанцев.

— Я — Чандака, — сказал хозяин, дотронувшись до своей груди. — Это — Чандра, — прибавил он, коснувшись желтого покрывала.

— Это — Калабинга, — сказал Афанасий, положив руку на головку своей маленькой приятельницы.

Индиец и его старшая дочь сдержанно засмеялись. Младшая залилась звонким хохотом.

— Калабинга — птица, — объясняла она чужестранцу его ошибку. — Это воробушек — Калабинга. А я — девочка.

— Дуня! — вскричал Афанасий. Как живая встала перед ним в ту минуту младшая сестренка, резвая Дуня, зазвучал ее звонкий неудержимый хохот.

— До-нио! — протянула девочка неуверенно. — До-нио... — повторила она несколько раз. — Нет, я не Донио. Я — Камала. А ты кто? Скажи нам, — она лукаво и застенчиво заглянула в глаза гостю, оглянулась на отца и снова, бросив кругом лукавый взгляд, степенно, внушительно, как взрослая, как хозяйка, попросила:

— Милый гость, скажи нам твое имя! Кто ты, не боящийся обезьянского князя?

— Какого обезьянского князя? — недоумевал Афанасий.

— У обезьян есть свой князь, государь обезьян, — убежденно говорила девочка, — а у него свое войско. И если кто-нибудь обидит обезьянку, она жалуется своему князю — и он приходит с войском и жестоко наказывает обидчика.

— Вот не знал, — пробормотал гость, не то веря, не то не веря ее рассказу.

— Но если б ты и знал — все равно не побоялся бы! — вскричала девочка. — Все равно не побоялся бы и отнял бы у обезьяны моего воробушка — ты, самый смелый и неустрашимый из людей! Все-таки скажи нам свое имя, — она снова сменила свой детский лепет на взрослый, степенный и приветливый тон, — нужно, чтоб мы его знали. Это имя храброго, его не надо скрывать.

— Добрые люди! — мешая индийскую и персидскую речь, заговорил Афанасий. — Милые хозяева! Больше не буду таиться, скажу вам все. В этой стране меня зовут Ходжа Юсуф Хоросани, — это мое басурманское имя; а по правде — я родом русский, верою христианин, а по имени — Афанасий Никитин. Страна моя, Русь, лежит за горами, за лесами, за синими морями; путь оттуда далекий и трудный — о, трудный! Сколько горя, сколько мучений я принял на столь долгом и страшном пути!

— Расскажи! Все, все расскажи! — умоляла Камала.

— Доверься нам, усталый путник! — прозвенел, как певучая струна, нежный голос из-под желтого покрывала. И в лицо Афанасию заглянули сияющие звезды — доверчивые темные глаза под прямыми черными бровями.

Чандака негромко распорядился, и его дочери взяли из рук Афанасия медное блюдо с почетной медовой смесью, а вместо него принесли расписные чаши с вареным рисом, с морковью, с какими-то сладкими травами на ароматном масле. Гость насытился, отдохнул. Огонь очага угас, голубой лунный луч проник в хижину, травяные подстилки медово и пряно благоухали. Сам не зная как, Афанасий заговорил. Он рассказывал по-персидски, вставлял слова и целые обороты на арабском, татарском, узбекском, турецком, на всех знакомых ему восточных языках. Он вплетал в свой рассказ и слова на языках Индостана, а порой, не заметив того, переходил на русскую речь. Понимали его или нет, — он рассказывал и рассказывал. Ему казалось, что эти люди, даже не зная языка, слушают его сердцем, болеют его судьбой...

Вот повесть Афанасия — передаем ее так, как он хотел ее сообщить индийским друзьям: так, как она изложена в его заветной тетрадке.

Глава X

РАССКАЗ АФАНАСИЯ

«С самых малых лет устремился я душою на далекие хождения по краям незнаемым, неизведанным. Еще мальчишкою заслушивался, бывало, странников да паломников, что по святым местам хаживали; толкуют меж собою старые люди — и каких только чудес не наскажут! Кто говорит — есть-де земля, где люди живут с песьими головами; а кто — есть, мол, в дальней стороне птица-феникс, с девичьим лицом и с девичьим голосом — и только-де услышишь, как та птица поет, тут же все невзгоды свои позабудешь... И я, мальчишка, все слушаю притаившись и все слагаю в сердце своем; а сердце мое горит, как пожаром объято, горит ребячье

кипучее сердце — и невмочь мне терпеть, до чего охота увидать воочию все чудеса земные...

А то — разговорятся меж собою разумные мужики, торговые гости, люди бывалые. Поведут беседу — кто с кем воюет и где за что, и в которой земле какой царь или султан нынче правит, и какие за рубежом есть города многолюдные, храмы златоверхие, пристани корабельные, народы нерусские... Так и мрет у меня душа! Зачем я не птица, почему у меня крыльев нету? Ох, слетал бы я в те края чужедальние, нагляделся бы, как там быстрые реки текут, как снежные горы стоят выше облака ходячего, как синеет океан-море глубокое. А то еще доведется порой: старые старицы, богомолки-странницы стих запоют да сказ поведут; да как помянут хоть слово про Индию чудесную, про ту ли про Индеюшку богатую, — у меня, у малого, дух спирает и сердце в груди замерло; жив быть не хочу, а хочу земную красу поглядеть, хочу ее всю запомнить, полюбить навеки. Таков я возрос.

Возрос, а своего желанья не бросил!

Пошел я по торговой части: как родители наши, так и мы. Работа привычная, с детских лет знакомая: счеты да подсчеты, да товары, да обозы, копейку на копейку клади — дело деньголюбивое, расчетливое дело, душа с него сохнет... А моя не усохла.

По торговым делам, по большим городам спознался я, сознакомился с гостями заморскими, со купцами иноземными. Ох, и любо же с ними потолковать, ох и полезно побеседовать! Про какой дальний край ни спроси, про какую землю ни заведи речь, — все расскажут умненько: куда путь держать, и в какую сторону ехать, и чего с собой на дорогу брать... А как запытаю про Индеюшку про богатую, — мои знакомцы и очи потупят: нет, мол, Афанасий, этого ты не спрашивай. Нашей братьи мало кто в Индии бывал, ничего толком не знаем; только слышно, что большие там чудеса и великие тайны... Молю, бывало: хоть намеком откройте! Что за чудеса, какие тайны? А ты, говорят, съезди сам, посмотри, после и нам расскажешь! До того, бывало, раззадорят — ни спать, ни есть не могу! Неужели, думаю, наш русский землепроход заморян этих ниже? Они хвастают, что весь свет обошли, а вот до Индии не добрались, ослабли. А наш брат? Неужель не дойдет?

И обуяла меня мечта — дойти до Индии! Возлелеял я в сердце эту мечту. А не с чем взяться. Не пойдешь в чужие края с пустыми руками; гостю-корабельщику товары нужны; товар запасти — казну растрясти. Надо покрепче мошной тряхнуть — а в ней, матушке, сроду ничего не бывало; наши доходы известные: торговали — веселились, подсчитали — прослезились... Надо случая выждать.

Долго я крепился, воздерживал себя, случая выжидал. Подвернулся он вправду, случай, или я сам собой его выдумал, шальной моей головой измыслил — и сам теперь не разберу. А пошло дело ходом, что уж пятиться было некуда.

Прослышал я: едет с Руси в свою землю татарский вельможа, князь Хасан-бек. Был он к нам послан послом от ширванского шаха, побывал в белокаменной Москве у великого князя, у государя нашего Ивана Васильевича, и повез от русского владыки своему ширванскому шаху большие дары: девяносто охотничьих кречетов, ловчих птиц натасканных, без отметины белых. С такими дарами не поедет он с малою челядью, а поедет с великою охраною. Попрошусь-ка, мыслю, к нему в попутчики; с ним до Ширванского царства доеду, а оттуда рукой подать в Персию, а там к арабам, — да так вот, кустик за кустиком, лесок за лесочком, доберусь до синя моря Индустанского, доплыву до Индии.

И свершил по задуманному. Отпустили меня и тверской князь, и великий князь московский всея Руси. Дали мне грамоты, что отпущен я на заморский торг.

До Нижнего Новгорода дошел без особой трудности. Там подождал малость ширваншахова посла. Он меня принял в попутчики. И пошли мы с ним Волгою. Прошли свободно Казань, Орду, Услон, Сарай... Это уж Волги низовья.

А в самом волжском низу, не так далеко от Хвалынского моря, залегло великое царство Астрахань. Это царство татарское, в нем правит татарский царь, и берет он дань со всех караванов купеческих, что идут летом Волгою. И вошли мы в реку Бузань — это Волги рукав под самой Астраханью. И тут явились к нам три астраханских татарина. Говорят: не ходите дальше. Якобы стережет нас князь здешний Касим и с ним крепкое войско — три тысячи татарских бойцов. Посол шир-

ванский Хасан-бек этих трех татар послушал доверчиво и дал им богатые дары, попросил, чтобы они наши два корабля повели бы протоками, провели бы неслышно мимо Астрахани. Они же, злодеи, подарки взяли, а в Астрахань весть про нас подали. Поберегся я, перешел на большой корабль к послу, оставил всю поклажу на малом корабле. Пошли мы мимо Астрахани, а месяц ярко светит, нас увидели. Подняли татары крик: «Кучьма, кучьма!» Значит, не бегите. А как не бежать? Мы от них, а они всей ордой за нами. Поднялась перестрелка. Двоих, никак, убили. Задержали татары наше малое судно, разграбили дочиста. Сколько было у меня там добришка, все прахом пошло. А большое судно наше дошло до Хвалынского моря и в устье Волги встало на мель. Тут нас окружили татары...»

Афанасий задыхался: волнение исказило его лицо. Он снова видел перед собою эту страшную битву в ночной темноте, в ушах его еще звенели свирепые татарские крики. «Что же дальше? Как уцелел ты?» — торопил Чандака. Его дочери глаз не сводили с рассказчика.

«Что ж дальше? Ограбили нас татары дочиста, ни синь-пороха не оставили. И голыми отпустили за море. А на Русь не спустили — опасались, чтоб мы туда не подали вести про ихний татарский разбой. Мы пошли к Дербенту на двух судах; я шел на бóльшем. На Хвалынском море захватила нас буря. Меньшее судно разбилось. А людей с него сняли кайтаки — это княжество такое, на Хвалынском побережье; жители говорят вроде по-персидски. Взяли они в плен наших людей, обратили в рабство. Упросил я ширваншахова посла Хасан-бека, с которым вместе пришли в Дербент, и он поклонился дербентскому князю Булат-беку, а тот послал гонца-скорохода к Ширванше-беку, известил обо всем. И Ширванша-бек написал Халиль-беку, кайтакскому князю, что вот вы, кайтаки, взяли людей, посланных ко мне, и ты освободи этих людей ради меня. И кайтакский князь, родня Ширванши-бека, послушал его, отпустил наших людей. Тогда пошли мы все к Ширванше, на его становище. Там слезно молили его и просили, чтоб помог нам вернуться на Русь. Но он ничего не помог: слишком много нас было. Заплакали мы и разошлись кто куда. У кого осталось дома много имущества и было чем долги заплатить, тот пошел восвояси, на Русь. А у меня



дома много долгов и платить нечем, — все мое добро пропало в этом походе. Вижу, дорога на Русь мне отрезана. И пошел я, куда меня очи повели...»

И дальше рассказывал Афанасий про свой многотрудный путь. Поведал, как из Дербента пошел он в Баку, где горит огонь неугасимый. Переплыл Дербентское море. Долго шел по владениям персидского шаха. Миновал много персидских городов, прошел по хоросанской провинции, добрался до острова Ормуза. Тут начинается Индустанское море, оно омывает индийские земли. Решился переплыть его в таве с конями. Чуть не погиб по дороге от жажды, от нестерпимого жара и от морской качки. Еле живой ступил на индийский берег. И вот уже третий год пошел, как он путешествует...

— Третий год! — задумчиво повторил Чандака. Он, как видно, был человек сведущий, испытавший немало, и многое в рассказе Никитина ему оказалось доступно. Дочери — те просто слушали длинную повесть, как захватывающую, хоть и не всегда понятную сказку. Никитин видел, как в страшных местах старшая сестра сжимала младшей тонкие руки, помогая ребенку справиться с волненьем; и Камала прятала заплаканное личико в желтых складках покрывала Чандры. Рассказчик чувствовал: его слушают как своего, как близкого человека, — и не просто слушают, а болеют душой за него, вместе с ним проходят его тягостный путь, и ужасаются, и надеются вместе с ним.

— Третий год ты в дороге, неустрашимый и сильный духом человек! — молвил еще раз Чандака. — Без друзей, без попутчиков; не имея ни описания мудрых книг, ни руководства опытных людей — один и почти без денег идешь ты... Идешь, ни перед чем не отступая; идешь, гонимый своей мечтой, верный своему замыслу... Нет, немного на земле таких людей, как ты, неутомимый мечтатель, — и даже в древних книгах не описано таких неслыханных путешествий...

Чандака умолк. Молчал и Афанасий. Голубая луна плыла высоко-высоко, звезды тонули в ее прозрачном сиянии. Тысячью голосов, сухой и звонкой музыкой стрекотали отовсюду цикады. На земле царила жаркая, благоуханная, невыразимо прекрасная индийская ночь.

Афанасий поуспокоился после своего рассказа. Страшные видения отступили от него, отошли в прош-

лое, в отболевшее. Теперь бы только отдышаться ему, отдохнуть у этих сердечных милых людей, отойти бы душою и телом от непосильных своих испытаний... А потом... А что же потом?

— Афа-Нази! Афа-Нази! — пристает Калабинга. Заискрились озорством черные большие глаза, вся трепещет девчурка от радости: вот ведь одолела-таки, запомнила новое чуждое имя!

— Афа-Нази! Послушай меня, Афа-Нази!

— О чем щебечешь, Воробушек?

— Куда теперь пойдешь ты, Афа-Нази? Ведь еще не закончен твой путь?

— Камала! Камала! Не беспокой гостя...

— Я не беспокою его, диди [1], мне только надо узнать: куда пойдет он дальше?

Дальше? Да разве он еще не угомонился? Не отходил себе ног? Не вымотал беспокойного сердца? Разве еще дальше поведет его неутомимая мечта?

— Афа-Нази! Куда?..

— Сам не знаю, Воробушек. Конечно, если правильно рассудить, — еще много чего не видал я. Вот, говорят, на восход и на полночь [2] отсюда будут страны Чина с Мачиной. Там мужики волосы заплетают по-бабьи — в длинную косу. Они ткут шелка — словно месячный свет прозрачные. Они лепят из белой глины посуду тоньше яичной скорлупки...

— Правда! Правда! Я сама видела: на базаре желтолицый мужчина с длинной черной косой продавал такую посуду...

— Ну вот, видишь... А то еще — дальше на полдень [3] — лежит остров Силян. А на нем высокая гора, и родятся в ней драгоценные камни: алые рубины, темнокрасные гранаты, белые кристаллы, черные агаты, светло-зеленые бериллы...

— Вот красиво-то! Афа-Нази, ты принесешь мне чудесных камешков? Хоть горсточку, да?

— Погоди, Воробушек, не чирикай... Слышал я еще про город Райчур. Он лежит далеко отсюда, на полдень. За этот город много воевали индийские и арабские цари.

---

[1] Диди — старшая сестра.
[2] Восход — восток, полночь — север.
[3] Полдень — юг.

Потому что там рождение дивных алмазов. Есть алмазы старой и новой копи; есть копи черных и есть копи белых алмазов, и есть такие, что сияют всеми цветами, будто радуга с неба сошла...

— Ах, как прекрасно! Ты там еще не был? Ты пойдешь туда, Афа-Нази?

— Не знаю, Воробушек мой веселый, куда поведут меня неуемные очи...

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— Ой! Люди добрые! Что же это? Кто так на крыше хохочет? Хозяин! Чандака! Кто у тебя на крыше?

— Не пугайся, наш милый гость. Это ночная птица Гукук, пролетая над городом, села на нашу кровлю.

— Птица? Да точно ли птица? Как хохочет! Ни дать ни взять — нечистый дух, будь помянут не к ночи...

— Отец! Отец! Скорее на кровлю! Надо убить зловещую птицу!

— Что ты, Чандра! Разве я мальчик, чтоб гоняться за птицей по кровле?

— Отец, убей ее! Убей вестницу зла! Она накличет нам горя! Смерть придет в тот дом, на который присела недобрая птица...

— Чандра! Спокойствие! Смерть неизбежно придет, когда ей назначено, и без ошибки найдет ту дверь, куда ей надо войти. А птица Гукук сама не рада, что дарован ей мерзкий голос. Она бы хотела спеть нам сладчайшую песню, но не в ее это воле, и вместо дивного пения она извергает лишь злобный хохот.

— Батюшки мои! Люди добрые, ну и кличет же птица! Ажно мороз до костей пробрал...

— Не смущайся, друг Афа-Нази, испытанный в огорчениях, неколебимый в бедствиях человек. Успокой встревоженное сердце: страшноголосая птица уже улетела.

Глава XI

ИНДИАНЕ

Как-то само собой вышло, что Афанасий совсем перебрался в дом Чандаки.

Хорошо ему жилось с индийскими друзьями; так хорошо, так спокойно и мирно, будто он у себя в родимой

Твери, под одним кровом с близкими сердцу. Нравилось, очевидно, и Ваське стоять тут у хижины, в тени тамариндов; он радостно фыркал, когда ласковая Чандра подносила ему чашу вареного гороху, и покорно подставлял голову, когда бойкая Камала ловкими пальчиками вплетала яркие цветы в его челку.

Афанасий записал для себя в заветной тетради: «Подружился с индианами и сказал им, что я не басурманин, а христианин, имя мне Афанасий, а по-басурмански звали меня Ходжа Юсуф Хоросани; и они не стали ни в чем от меня таиться, ни в еде, ни в торговле, ни в обрядах, ни в других вещах; и женщин своих не стали от меня скрывать».

Чандака был человек, умудренный жизнью, много испытавший на своем веку. Беседуя с ним, Никитин узнал, что обширная страна Индия состоит из множества больших и малых независимых государств и они непрерывно и свирепо воюют между собой. Этими раздорами воспользовались иноземцы. Приблизительно за двести лет до путешествия Афанасия Никитина на Индию хлынули персидские и арабские войска. Мусульманские завоеватели поработили Индию. Теперь на всех престолах индийских царств сидят цари-чужеземцы — в большинстве это потомки хоросанских знатных родов персидского племени. Они окружили себя вельможами-хоросанцами, и эти хищные и жадные правители обирают и разоряют трудовой индийский народ. Чандака рассказывал, что после долгих многолетних войн, после того как по мирным полям Индии прошли мощные армии завоевателей, в стране не раз возникал жестокий голод. Вместе с голодом приходили болезни, от которых погибали сотни тысяч людей. В голодных деревнях начиналось людоедство. Пред лицом страшной смерти родители продавали в рабство своих маленьких детей, тысячи бедствий обрушивались на беззащитный народ. «Вот ужас войны! — говорил Чандака. — Ужас ее в том, что люди гибнут не только от пролития крови, но от разорения, истощения и неустройства жизни; война — мать, а дети ее — голод и нищета».

— Вот так погибла и моя Камала, моя верная, преданная и добрая жена, мать моих дочерей, — рассказывал Чандака. — Она погибла оттого, что слишком обильны были наши труды и слишком скудна пища. Да и из

того немногого, что могла бы употребить для себя, большую часть она отдавала детям: подрастающей Чандре и крохотной крикунье Камале. Да, да! Им все, а себе — почти ничего. Такова радость матери. Но за эту ее радость дети заплатили печалью сиротства. Моя Камала была скромна и благочестива, она никогда не отказывала в подаянии брамину (священнику) и от малой нашей еды всегда часть выливала в огонь — в жертву богам. И все-таки боги не пожалели ее, а брамин от старости разучился молиться, или его молитвы не доходили до божества. И моя Камала покинула нашу земную жизнь с тем, чтоб дождаться меня там, в загробном мире, куда каждый из нас придет в свой черед. Я согревал ее холодеющие руки; я хотел снять с этих рук золотые браслеты, чтоб купить ей — да, ей, не нам! — хлеба, мяса и масла. Но она сказала: «Нет! Нет! Этим ты уже ничего не спасешь и не отсрочишь: предназначенное свершится». И велела позвать малютку Чандру — ей было не больше восьми, и она только первый год носила свое брачное сари — ведь у нас до семи лет девочки ходят без одежды. И умирающая мать надела на тонкие ручки ребенка свои золотые браслеты и сказала: «Их когда-то отдала мне моя мать, перед тем, как покинуть меня навсегда, и я никогда в жизни с ними не расставалась. А теперь я покину вас — и вот все, моя старшая дочь, что я могу тебе оставить. Кроме моей любви, которая не умрет...»

— Которая не умрет, — повторял Чандака, а Никитин, вытирая глаза, промолвил:

— Любовь-то не умрет, а мать-то у сирот померла...

И добавил задумчиво:

— Видно, не сладко житьишко простому народушку во Индии богатой...

Вдвоем со своим новым другом Никитин обошел город Бидар. Среди города высилась царская цитадель — крепость, обнесенная высокой стеной с семью огромными воротами. Никитин со своим проводником хотел пройти в ворота, но их не пропустили: под аркой ворот дежурили вооруженные стражи и писцы-кафиры; каждого проходящего опрашивали и записывали его имя и зачем идет; иностранцев же вовсе не пропускали. Только издали подивился Афанасий на прекрасные дворцы с башнями и куполами, облицованные разноцветными

плитками и расписанные золотом. По голубым и зеленым изразцам вилась кудрявая вязь арабских надписей. Чандака объяснил, что на стенах дворцов выведены золотом изречения из Корана — священной книги мусульман. Бидар — это столица индийского государства Декан, а владыка Декана, молодой царь Махмуд из персидской семьи Бахманидов, — мусульманин. Поэтому, кроме сверкающих золотом дворцов, он построил в своей крепости великолепную мечеть с шестнадцатью колоннами и приступает к постройке огромной школы; там будут кельи для студентов, трехэтажные залы для занятий, будет библиотека, для которой уже собрано больше трех тысяч рукописных книг.

В лучшем из дворцов живет сам юный султан, в других — его родня. И здесь же стоит дворец любимого султанова советника и помощника Мелик-ат-Тучара. Он у султана первый человек. У него своя армия в 200 000 бойцов, ему подчинены все торговые дела, а для наблюдения за порядком в городе в его распоряжении находятся тысяча вооруженных всадников, которые с факелами в руках объезжают ночью Бидар.

Все это Никитин записал в свою тетрадку и отметил: «Всюду резьба да золото; и последний камень вырезан и очень красиво расписан золотом».

Сколько чудес! И все ему мало, мало. Ненасытно его любопытство, неутомимо влечение к познанию мира... «Поглядеть бы своими глазами Махмуда-царя, каков он есть?» — мечтает про себя Афанасий Никитин.

Сбылась и эта мечта. В следующий раз, когда они с Чандакой бродили по городу и подошли к воротам «султанова двора», они увидели, как величавые ворота без стука и без скрипа распахнулись и из них показалась блестящая шумная процессия. Это выехал на прогулку повелитель Декана. Афанасий протирал глаза и щипал себя за руку: не сон ли это? Чандака давно лежал на земле, растянувшись во весь рост, и что есть силы тянул Афанасия, чтоб тот тоже пал ниц. Афанасий встал на колени, как делалось на Руси при встрече с великим князем, а сам смотрел во все глаза: вот оно, чудо из чудес! Где еще увидишь подобное?

Юноша царь восседал в золотой палатке, поставленной на спину старого смирного слона. Громадное тело слона все было завешено драгоценными коврами, золо-

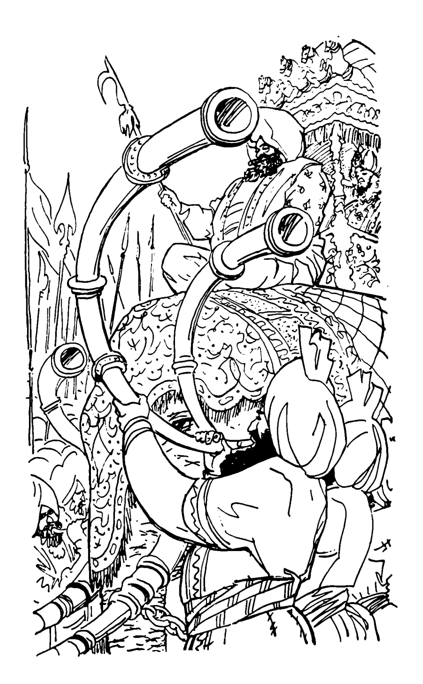
ченой камкой и шелковыми тканями. Между ушей слона сидел погонщик, одетый в золото. С клыков спускались золотые цепи; их держали с обеих сторон служители в золоченых доспехах. Афанасий на веку своем не видывал слонов, но знал со слов Чандаки, что один слон заменяет в битве пятьсот воинов, и не мог надивиться могуществу индийского султана. Целая вереница слонов выступала вслед за царским слоном; все они несли на спинах ковровые палатки, и в каждой сидело человек десять-двенадцать отборных стрелков с луками и стрелами. И так же вели каждого слона за золотые цепи ратники в дорогих доспехах. Афанасий насчитал при слонах до двухсот раззолоченных прислужников. За султаном вели триста прекрасных коней, оседланных и богато разубранных, но без всадников. За ними вели на золотых цепях сто обезьян; они прыгали, кривлялись и визжали, возбужденные солнцем, шумом и блеском. За ними следовали сто молодых женщин, одна другой красивее; они шли в своих шелковых разноцветных сари, блистая жемчужными ожерельями, алмазными серьгами; синели яхонты цвета небес, и, как кровь, алели лалы на ручных и ножных браслетах, на застежках, на поясах. Чандака тихо пояснил: это царские танцовщицы, все юные девы; их свозят в султанов дворец со всех концов государства.

А кругом плясали царские плясуны — сто отборных искусников выделывали невиданные прыжки во славу и на радость царя. Сто трубачей, надрываясь, трубили в медноголосые трубы; сто литаврщиков изо всей мочи били в литавры, сто свирельщиков напрягали грудь, стараясь выдудить из свирели пронзительные протяжные звуки.

Ошеломленный Афанасий только старался все видеть, ничего не пропустить. Когда длинное шествие кончилось, он только повторял, как оглушенный: «Что за богатство! Пышность какая!»

Посмотрел на умолкшего Чандаку — как застыло его умное подвижное лицо, какие горькие складки в углах губ, сколько печали во взгляде!

Вспомнил его рассказ, как умирала изголодавшаяся жена; вспомнил, сколько работают этот неутомимый человек и его скромная, молчаливая дочь, — и только горестно развел руками...



Дома Никитин записал в своей тетрадке: «Земля весьма многолюдна; сельские люди очень бедны, а вельможи чрезвычайно богаты и пышны». И подробно изобразил великолепный выезд султана. Записал он также про зловещую птицу Гукук и про обезьян, которые по ночам крадут кур. Подумав, записал также и рассказ Камалы про обезьянского царя. Может, и напутала девчонка, а на всякий случай лучше все-таки записать.

Пока он писал, свечерело; Чандра и Камала собрали несложный ужин.

После ужина, как всегда, пошли разговоры. Афанасий крепко любил вечерние эти беседы. Еда в доме Чандаки не отнимала много времени. (В тетради было записано: «Индиане едят два раза в день, а ночью ничего не едят. И мясо не едят никогда — почитают корову священным животным».) Быстро управившись с кашей и молоком, все четверо пускались рассказывать, кто во что горазд: все, что знали, помнили, слышали или тут же придумывали. Ну, как тут уши не развесить? Как не заслушаться, если только в ударе строгий хозяин дома? У Чандаки память была поразительная. Он рассказывал старинные индийские предания и легенды с премудрыми поучениями и рассуждениями; он знал их множество и излагал стройно, выразительно оттеняя каждое слово. Знал он также поэмы и притчи из древних мудрых книг «Рамаяна» и «Махабхарата»; эти книги были написаны стихами, на красивом старинном языке, каким в то время в Индии уже не говорили; а Чандака закрывал глаза и, весь уйдя в себя, будто отрешившись от сегодняшней жизни, без запинки произносил сотни и сотни строк. «Дух дышит, где хочет!» — говорил себе Афанасий и глядел с уважительным страхом на этого полунищего индийца, на этого простого ремесленника, который хранил в своей всеобъемлющей памяти вдохновенную мудрость тысячелетий... А когда начинала свои повести тихая Чандра, доверчиво глядя гостю прямо в глаза,— Афанасий не мог согнать с лица растроганной и смущенной улыбки. Уж очень были жалостны Чандрины затейливые сказки! С удивлением слушал Афанасий предание о прекрасной царевне, по имени Пять Цветков. Женихом ее стал иноземный царевич дивной красоты, — но долгие, тяжкие суждены были им испытания. И когда злоключения кончились и супруги достигли долго-

жданного единения, — царевна Пять Цветков уступила мужа первой его жене, простой крестьянской девушке; уступила, потому что та девушка приютила и пожалела его, когда он был изгнан и нищ. Задумчиво покачав светлокудрой головой, гость просил: «Еще умильную сказочку!» И Чандра, вся разгоревшись, говорила звенящим голосом о том, как погибла бедная царица Мирча и как после смерти «тело ее превратилось в высокую белую стену, ее волосы стали вьющимися лианами, алые губы расцвели алыми розами. А душа ее превратилась в двух птиц, и они вечно зовут и кличут друг друга, но не могут переплыть через озеро, которое их разделяет...»

Афанасий молчал, отдаваясь каким-то смутным и задушевным мыслям.

— Ну, что, Афа-Нази? Что молчишь? — теребила его Камала. — Хороши Чандрины сказки?

— Ничего не скажешь, замысловатые! — словно спросонья щурился и хмурился Афанасий.

— Проснись, Афа-Нази, проснись! Послушай мою!

И тут же она выдумывала сказку про молодого царя. Он ехал по городу и увидал, как бедный столяр мастерит кровать с необычайно красивой резьбой. Царь купил чудесную кровать, увез ее во дворец. Ночью, когда он лег спать, одна из ножек кровати заговорила и сказала другим:

— Слушайте, сестры! Я пойду дозором по городу. А вы стойте крепко, чтоб царь не упал.

И убежала. Потом вернулась и говорит:

— В царскую туфлю заползла ядовитая змея, нельзя царю надевать эти туфли.

И встала на место. Тогда заговорила вторая ножка:

— Я тоже хочу пройтись по городу и что-нибудь узнать. А вы, сестры, стойте крепко, чтоб царь не упал!

Вернулась и говорит:

— Стена у царского сада хочет обрушиться. Нельзя, чтоб царь там гулял!

И встала на место. Тогда ушла на разведку третья ножка. Она очень долго не возвращалась. Четвертой ножке надоело ждать, и она сказала:

— Уже наступает утро, и я не успею пройтись. Вы, две, стойте крепко и держите кровать, чтоб спящий царь не упал!

И убежала. Две ножки не выдержали тяжести, подкосились. Царь упал и проснулся.

— Неправда! — кричала Чандра. — Выдумываешь, Камала! Царь вовсе не спал, а третья ножка вернулась перед зарей...

— Не вернулась! — упорствовала Калабинга. — Никогда не вернулась! Ты не знаешь, диди. Она ушла. Совсем ушла. Навсегда. За синие моря. Правда, Афа-Нази? И там, за синими морями, она стала девочкой. И ее назвали До-нио. Ду-нио. Правда?

— Истинная правда, — подтверждал Афанасий. — В одной деревне жили брат да сестра, Ваня да Дуня...

Он настолько освоился с языком хинду, что свободно рассказывал сестрам про Ваню и Дуню, про царевну Несмеяну и про все, что только вспоминалось из любимых сказок милой сестренки Дуни.

Когда не хватало сказок, он задумчиво напевал:

— Не велят Дуне за реченьку ходить,
Не велят Дуне молодчика любить,
Ой да расхорошенького,
Душу-Ваню чернобровенького...

И в тепло и негу индийской ночи несся русский деревенский напев, полный протяжной жалобы, безутешной печали.

Иногда запевала и Чандра. Древняя индийская «Песнь весны» тоже пелась протяжно, но в ней не звучало жалобы, не слышно было печали, она дышала радостью, обольщала надеждой на счастье:

Силой времени зацвели молодые ветви,
Голодные пчелы, жужжа, прилетели к цветам.
Подчинись, человек, власти весны!
Вкуси без сомнения радость мечты!
Смейся — ведь юность твоя не прошла!

Как волновала, как звала за собой неотразимая песня! Как блаженно текли мирные вечера в доме Чандаки!

Но сегодняшний вечер — невесть почему — шел неудачно. Беседа плохо налаживалась. Чандака, чем-то подавленный, был сверх меры угрюм и, не откликаясь ни на какие просьбы, не начинал рассказа.

Афанасий и хотел бы спросить своего доброго друга, в чем дело. Но сначала заторопился записать все виден-

ное, пока не забылось. А потом почему-то постеснялся одолевать Чандаку расспросами.

Чандра всегда была скуповата на слова, а сегодня никак не могла разговориться. Даже бойкая Калабинга присмирела. Все-таки она начала что-то такое болтать о том, как поссорились бобок с горошинкой, и вдруг перебила себя:

— Отец! — вскрикнула она так испуганно, что все вздрогнули и вскочили с места. — Отец! Кто это? Зачем? Что им надо?

Девочка раньше всех увидела незваных гостей. Первый из двух вошедших был отвратительно толст и неуклюж, но не это было в нем страшно. Страшно казалось в нем то, что глаза его были тусклы и мертвенны, а широкий рот раскрыт и желтые зубы неподвижно выставлены в неживой, безрадостной и бесчувственной усмешке. У него было такое лицо, что каждый понимал: ты можешь перед ним страдать, скорбеть, корчиться в муках, ты умереть перед ним можешь — и это его не заденет, не шевельнет, не затронет. Из-за его обширного плеча выглянул другой — маленький, пряткий, худенький человечек; этот, наоборот, был крайне весел, суетлив, подвижен; но все равно что-то леденящее сверкало в его пронзительных, как булавки, глазках.

Афанасий еще не знал, в чем дело, а сердце у него упало. «Пришла беда!» Он взглянул на Чандаку: у него лицо не то что побледнело, а посерело все, и глаза сразу остановились, погасли.

— Я вас не ждал сегодня, — произнес он медленно, усиливаясь говорить спокойно. — Ведь назначенный срок еще не настал.

— Как не настал? — крикнул толстый удивительно визгливым, режущим слух голосом. — Как не настал, собака, сын собаки, сын буйвола?

— Голубчик, — пророкотал маленький неожиданно сочным баском, очень ласково и дружелюбно, — милый, приятель мой золотой, назначенный срок миновал еще позавчера. Ты, видно, не знал, что в этом году срок передвинут?

— Нет, не знал, — еле выговорил Чандака. — Прошу прощенья, не знал.

— Он прощенья просит! — завизжал толстый. — Свинья, сын свиньи, он просит прощенья! Нам что — из-

виненья твои нужны? Нам деньги нужны! Подавай, что с тебя причитается! А потом попросишь прощенья!..

«Сборщики налогов...» — понял Афанасий.

— Простите, высокие господа! — заговорил он на языке хоросанцев, не сомневаясь, что этим чиновникам знаком язык, на котором говорит все их начальство. — Я чужестранец, и мне не все здесь понятно. Сделайте милость, разъясните мне, почтенные господа, за что вы так ужасно ругаете этого доброго человека? Допустим, вам надо получить с него налог. Ну, так и получайте деньги, а зачем же обижать доброго хозяина дома?

Оба чиновника оглушительно хохотали.

— Грязь он, а не человек! Грязь под моими ногами, вот он кто, хозяин этого дома, — жалкий, ничтожный индиец! — визжал старший, толстый.

— Уважаемый чужестранец, — рокотал сочным баском маленький сборщик, — тебе будет полезно узнать, какое наставление дает великий мусульманский ученый молодому и неопытному султану. Слушай.

Приосанившись, он прочел наизусть, внушительно и отчетливо:

— «Индиец — это только плательщик налогов. Если сборщик потребует с него серебра, он должен без пререканий, с почтением и кротким смирением отдать свое золото. Если сборщик налогов бросит индийцу грязью в лицо, — тот должен без отвращения открыть рот и проглотить эту грязь».

— Вот! Слышал? Прими как закон! — провизжал толстый.

Афанасий содрогнулся.

— Сколько же должен отдать вам этот плательщик?

— А вот подсчитаем, почтеннейший, — весело откликнулся сочный басок. — Подсчитаем, золотой ты мой, подсчитаем. Давно мы с тобой не подсчитывали, миленький, верно?

Начался подсчет — и у Афанасия волосы встали дыбом. Простой индиец должен был отдавать в султанову казну половину своего дохода. Сверх того он должен был платить содержание старосты, писаря, чиновников по сбору налогов. Он должен был также отчислять сумму на содержание храма. Кроме того, с него брали деньги и на прокорм султановых войск, и на откуп от вражеских армий...



— Ты, плетельщик зонтов! Какой у тебя был доход в этом месяце, ну-ка? — спросили сборщики.

— Милостивые господа, — сказал Чандака с каменным лицом. — У меня в этом месяце не было никакого дохода. Напрасно сидел я на базаре, разложив свой товар: никому не хотелось покупать моих зонтов, никто не нуждался в моих циновках и ковриках. Почти без денег приходил я с базара, а то немногое, что выручал, тратил на пальмовое волокно и на пропитание моей семьи.

— Лодырь! Ленивая собака, собака из собак! Старый, ленивый буйвол! — орал старший сборщик, выпучив свинцовые глаза. — Ты и на базаре-то не сидел! Ты шатался по городу, как нечистый дух, ты бродил по улицам, как бессмысленная скотина! От работы отлынивал, а теперь отлыниваешь от уплаты налога! Ты знаешь, чего ты заслуживаешь в глазах закона?

— Да, миленький, — подтвердил мягкий басок с невыразимо печальными сострадательными нотками. —

Дело твое неважно. Нет у тебя законных поводов для отсрочки. Не очень-то часто видели тебя на базаре последнее время. Но сколько угодно свидетелей тому, как целыми днями шатался ты по городу, неизвестно с кем и зачем. А какая была цель этих твоих прогулок, и с кем ты сблизился, и откуда явились твои приятели, — это уж ты расскажешь не нам, а милостивым судьям нашего благочестивого султана, да ниспошлет ему аллах все, чего ему благоугодно пожелать.

«Опять! Опять начинается! — сердце у Афанасия застучало часто-часто. — Опять прицепятся... Узнают, что я христианин... опять потребуют принять махмудову веру... забыть родину... Откажешься, — отберут Ваську... Самого в рабство продадут... Им ведь только бы к чему прицепиться...»

Чего они толкутся тут, не уходят? Ясно, взятки хотят. Но нечего, нечего дать им! Пусты карманы. За три года скитаний чуть не дочиста все издержал.

А басок все рокотал, с самым теплым сочувствием, на самых бархатных нотках:

— Ты, золотой мой, не сомневайся, мы тебе зла не хотим. В тюрьму тебя упрятать для нас какая же радость? Да никакой ровно! Мы в твое положение входим. Повод для отсрочки, подумавши, найдем. Но и ты войди в положение наше. Мы ведь семейные люди. А чего это стоит, прокормиться с семьей? Рассуди-ка, подумай!

— Понимаю, добрые господа, все понимаю... — бормотал чуть живой Чандака. — Я бы с радостью. Не поскупился бы никогда. Но нет у меня, понимаете, нет ничего... Нечего вам отдать...

— Погоди-ка, приятный мой! Ты песенки этой разве не знаешь?

— Какой... песенки?

— А как же? Старинная песня. Любимая. То есть ваша любимая, налогоплательщиков. Погоди... как она? Э, припомнил!

Сочный басок живо, игриво запел:

> — Ой, налоги! Ай, налоги!
> Сборщик на пороге!
> Подавай! Подавай!
> Все, что есть, отдавай!
> У друзей занимай,
> У жены кольцо снимай!

— Что скажешь? Правильная песенка! Славная, право! «У жены кольцо снимай!» — плохо, что ли, сказано? Ты бы, миленький, об этом подумал.

— Милостивые господа, у меня нет ни жены, ни колец...

— Вот как? А это что?

Чандра вскрикнула. Шутник схватил ее за руку. Заветные материнские браслеты бросились ему в глаза... Он крутил и вертел руку девушки, стараясь снять украшения. Закусив губы, Чандра молчала, в то время как чиновник выворачивал ей руку. Калабинга громко зарыдала и с криком «Диди! Диди!» бросилась на защиту сестры, но сборщик налогов отбросил ее одним толчком, как котенка.

— Отдай вещи, Чандра! — приказал Чандака.

— Их надела мне мать, — прошептала Чандра.

— Отдай! — непреклонно сказал Чандака. — Пришел назначенный час.

Девушка посмотрела на отца и молча сняла браслеты с рук и кольца со щиколоток ног. Когда ее заветные украшения скрылись в мешке сборщика, она закрыла руками лицо и светлые слезы потекли по тоненьким смуглым пальцам. Сам не зная как, Афанасий выдвинулся вперед.

— Господа честные! — сказал он почти так же непреклонно, как Чандака. — Отдайте девушке ее добро.

— Что такое? Что это еще за чудо? С кем шутишь ты, полоумный? — возмутились чиновники. Но они возмущались все же не слишком громко, очевидно разглядев широкие плечи Афанасия и могучие его руки. Афанасий и сам только сейчас разобрал, что стоит перед сборщиками, крепко сжав кулаки, наклонив голову, правое плечо вперед — подобно опытному бойцу, готовому на смертельную схватку.

— Верните девушке материнское наследство. Верните, честные господа, — твердо повторил Афанасий — А то как бы хуже не было. Не вводите меня во искушение.

Сборщики переглянулись. Они поняли соотношение сил и, очевидно, непрочь были кончить дело без драки.

— Заплатите сполна налоги, тогда, может быть, и вернем, — взвизгнул старший.

— И нам на прокорм не забудьте прибавить, — пропел, как по нотам, его басистый помощник. — А то зна-

ем мы вас, плательщиков; налог еще кой-как внесете, а уж нашего труда не оцените. И не подумаете, что нам тоже невесело ходить до поздней ночи по всем городским закоулкам. Мы вас всегда жалеем, а вот вы нас не очень...

— Завтра до полудня жду тебя на главном базаре,— пролаял и провизжал толстый сборщик. — Не внесешь налога, тощий, старый пес, — пеняй на себя; не минуешь тюрьмы — и с полоумным твоим постояльцем. Иду, иду! Не распускать кулаки! — и почтенный чиновник устремился к двери, из которой уже выкатился стремглав на улицу его сердобольный помощник.

Афанасий успел только слегка подтолкнуть сборщика в жирную спину, промолвив вдогонку: «Семь бед — один ответ». Но этого легкого толчка оказалось достаточно, чтоб чиновник мячиком пролетел два десятка шагов по переулку и бесследно скрылся в ночной темноте. Чандака положил руку на плечо Афанасию:

— Довольно! Не навлекай гибели на мой мирный дом! Или ты хочешь быть мне врагом, а не другом?

Налетел бы на Афанасия десяток бойцов, навели бы на него пищаль огнестрельную, — навряд ли бы он смирил свою ярость. Но в унылом отчаянном голосе Чандаки, в его легком тихом прикосновении было что-то такое, как смерть неминучее, неотвратимое, как судьба. И встал Афанасий как вкопанный, разжал кулаки, опустил свою буйную голову.

— Эх, друг! — прошептал он. — Чандака, брат названый! Ну, веришь слову, только для тебя не разделал я их на мелкую щепку...

— Надлежит ли на них обрушивать гнев свой? — задумчиво молвил Чандака. — Они слуги закона. А закон...

И Чандака, с его изумительной памятью, прочел наизусть отрывок из закона, возглашенного недавно во всеуслышание на Главном Базаре:

— «Если народ от беззакония или духа возмущения поднимет волнение при сборе налога, его надо искоренить и уничтожить наказанием и каранием, чтоб его преступность и восстание не распространились...»

— Да... закон! — пробормотал Афанасий. — Вымрет у них народ с такими законами...

— Нельзя быть без закона, — ответствовал Чанда-

ка. — Пусть мне, или тебе, или еще кому-то будет тяжело и невыгодно, но государство должно подчиняться закону. На этой правде стоит земля.

Афанасий ответил по-русски:

— Закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло. — И добавил на языке хинди: — Так-то так, только боюсь, что эти слуги закона не столько положенных налогов соберут, сколько себе, на поправку дел... Слыхал, что пели? Никто их не жалеет, на прокорм семьи мало подают... Эх, законники!

В доме наступила тишина. Но из домочадцев Чандаки разве только одна Калабинга сколько-нибудь спала в эту летнюю ночь. Да и та во сне кричала и плакала, как больной, одержимый тяжелым бредом. Чандра утром почти не могла глаз раскрыть — так отекли под богатыми ресницами ее темные веки. У Чандаки за эту ночь лицо стало зеленого цвета, нос его заострился, губы, страдальчески приоткрывшись, обнажили ряд белых зубов и никак не хотели закрыться, — это было лицо мертвеца. Афанасий...

Но никто утром не видал, как выглядит Афанасий. Он встал, только-только забрезжила ранняя бледная зорька. Взял плетеное ведро, пошел к желобу колодца, принес коню студеной воды. И поил его, пока Васька, расшалившись, не сунул морду в ведро и не дунул на хозяина целым дождем светлых брызг. И чистил ему Афанасий крутые бока и высокую спину, и расплетал-заплетал густую конскую гриву, и взнуздал коня новой шелковой уздечкой. А когда молодая заря разгорелась во всей своей алой красе, поцеловал коня в жаркие трепетные ноздри и сказал по-русски: «Пойдем, Васька!», а потом еле слышно добавил на языке хинду: «Наступил назначенный час!»

— Афа-Нази! Куда ушел Афа-Нази? Он вернется к нам? — добивалась Калабинга. Но отец и сестра не отвечали. Ничего не сказали они и когда Афанасий не пришел к обеду. Безмолвно ели вареный рис, и только отец прикрикнул на Калабингу, на ее неугомонные вопросы: «Ешь и молчи!» И все замолчали.

Но как же ахнули, как встрепенулись они после обеда, когда вошел похудевший Афанасий и без всяких объяснений положил на колени Чандре ее заветные браслеты.

— Вот твои побрякушки, дочка! Береги материно наследство! — сказал он девушке.

Она молча глубоко склонилась перед ним и вышла во двор, захватив конскую кормушку с моченым горохом. Афанасий поглядел на ее отца.

— Давай-ка сосни, Чандака! Лица на тебе нет. Глаз не сомкнул, наверно? Ложись, почивай. Заплатил я твои налоги. И на прокорм им дал, собакам несытым. Присмиреют теперь до поры до времени, законники, волки голодные!

И, потянувшись так, что хрустнули кости, улегся на свою трявяную подстилку.

— А обед? Афа-Нази! Ты не обедал? — подбежала Калабинга.

— Ничего не хочу. Сыт по горло, — буркнул он и закрыл глаза. — Не скачи, Воробушек! Сон милее всего.

— Он продал коня! — шепнула отцу Чандра, вернувшись с полной кормушкой.

Чандака взглянул на спящего Афанасия и дал знак дочерям не шуметь.

— Широта сердца! — сказал он еле слышно. — Продал коня, чтоб заплатить за меня налоги и выручить твои заветные украшения... Чандра, много встречается на свете и доброго, и злого; много еще предстоит нам увидеть, но вряд ли когда-нибудь встретим мы еще раз такое сердце — русское сердце, не имеющее меры для жалости, не знающее границ для доброты.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

НЕДОБРЫЙ ГОСТЬ

Налоги уплачены; торговля плетеным товаром бойко пошла; ни болезней, ни голода не видать в доме Чандаки. Плохо ли? И, если глядеть по поверхности, чего бы теперь бояться, откуда ждать худа? Но Афанасия не обманешь.

Он знает: покоя на свете нет и столь желанный для человека отдых дается лишь на самый кратчайший миг. Только-только успеешь перевести дух — и уж тебя кругом обступили тревоги. Ползут толпами, как лихие сны; вьются над головой, подобные злобным осам. Откуда берутся они, горестные тревоги, как родятся злые предчувствия в беззащитном сердце людском? А вода откуда берется в океан-море? Откуда тонкий туман забелился над лугами над шелковыми, над медвяными травами? Почему, увидав нового гостя у очага Чандаки, Афанасий не размышлял и не сомневался, а твердо, уверенно сказал себе: «Вот оно! Быть беде, быть худу великому!»

Никитина не было дома, когда новый гость переступил порог хижины плетельщика. Когда же Афанасий вернулся с базара, первое волнение встречи уже улеглось; обряды почетного угощения уже были выполнены. Новый гость сидел перед очагом, в мирной беседе с главою семьи. Сидел он прямо на земле, даже без травяной подстилки, но и сидя был выше всех ростом, так что Чандра, не спускавшая с него глаз, смотрела снизу вверх. Да как смотрела! Словно бы пред ней небеса

раскрылись, словно бы ей предстало видение, которого она всей душой ждала, в котором явлен весь смысл ее жизни. Желтое сари скатилось с девичьей головки; чернобровое смуглое личико все открыто, все освещено, — а до сих пор его тонкие черты лишь бегло мелькали в желтой тени покрывала. Афанасий впервые увидел это лицо в таком ослепительном блеске. Оно, казалось, было озарено не красноватым огнем светильника, а яркой силой изнутри проступившего чувства. Афанасий смотрел и не узнавал. Где задумчивая сдержанность Чандры, где ее тихая скромность? Голова откинулась, рот полуоткрылся; темным румянцем окрасились матовые щеки. И глаза уже не сияют тихой радостной доверчивостью; о чем-то мучительном вопрошают эти огромные глаза; они расширились, углубились, и сурово легли под ними черные тени. Чандра внезапно стала старше, собранней, крепче; нет, это не хрупкая девочка в своем ребяческом любопытстве загляделась на новое лицо; это много страдавшая, много постигшая женщина всей волей стремится к тому, кто принес ей желанную и страшную весть. «Что с ней? Наваждение, что ли?» — спрашивал себя Афанасий, не в силах уразуметь этой внезапной перемены. Он хотел бы глазами спросить Чандру, он искал хоть на мгновение встретиться с ней взорами, — а она и головы к нему не повернула и не глянула в его сторону; ни на единый миг не оторвался ее взгляд от нового гостя. Афанасий видел, как шевелятся ее полные темно-алые губы, как сошлись прямые черные брови, и, не находя в этом новом лице прежнего робкого очарования, осуждающе и неприязненно размышлял: «Сбесилась, что ли, девка? Ишь уставилась на старика, без стыда безо всякого! При отце, при сестренке! Все глаза проглядела. А на что глядит? Глядеть-то не на что. Так, бродяжка невзрачный; нищий старик, полуголый, тощий. Видать, по всему Хиндустану елозит за подаянием. Да не больно-то подают. До чего худущий!..» И Афанасий, в свою очередь, воззрился было в лицо этому полуголому нищему — да так и потупил глаза. Силой и волей повеяло от его изможденного облика. Словно из темного камня было вырезано твердое горбоносое лицо — тонко, искусно вырезано — и до краев напоено несказанной гордостью, беспощадной, бесстрашной самоуверенностью.

Несчетно лет прошло, как на Руси, в астраханских степях, довелось однажды Афанасию видеть: охотник-кайсах приручал беркута — огромного степного орла. Со связанными лапами пленный хищник смирно сидел на руках у хозяина и смотрел в сторону желтым, прозрачным, совершенно по-человечески умным и ясным глазом. И вдруг признал Афанасий этот желтый глаз, этот точеный облик, это гордое, не человечье и не птичье, лицо.

— Орел степной! Зачем он здесь, ловец неумолимый? Ужель на погибель птенцам беззащитным?

Афанасий чуть не крикнул, чуть не застонал во весь голос, но опомнился; все так же глядел в сторону страшный старик, все так же не сводила глаз со старика, как обуянная чем-то, Чандра...

— Да что он бубнит такое? Заклятия, что ли, какие читает?

Старик с лицом царственной птицы произносил нараспев торжественные мерные слова. Афанасий не понимал этого певучего языка; это не был так хорошо ему знакомый повседневный говор хинду: это был санскрит — священная речь Древней Индии, хранилище молитв, заклинаний и труднейших для понимания премудрых поэм.

Мерный говор прервался; изогнулись сухие и темные пальцы, старческая рука опустилась на черные гладкие волосы Чандры; девушка вытянулась, трепеща всем тоненьким телом, и не своим, истомленным голосом простонала или пропела:

— Веди меня от призрачного к истинному, веди меня от тьмы к свету, веди меня от смерти к бессмертию!

«Молитву творит», — по привычке все замечать сказал себе Афанасий. И сам не знал, что угадал, что из уст девушки вылилась древняя мантра — заклинание и молитва.

Горбоносое каменное лицо потеплело; ожили желтые, не по-людски прозрачные, птичьи глаза; старик выпрямился во весь свой неправдоподобно высокий рост — и довольно высокий Чандака рядом с ним показался подростком. Высоченное темное тело старика не было ничем излишним обременено; только грубая дхоти — полоса простой бумажной ткани — опоясывала его узкие бедра. Потребности, прихоти — все это было дочиста выбро-

шено из его обихода. Желаний не знало это почти бесплотное тело, его держала и двигала только безмерная воля. И опять Афанасию мельком почудились цепкие орлиные лапы, когда старик вновь возложил бескровные согнутые пальцы на склоненную головку Чандры.

— Благословенно искание! Благословенна чистота! Благословен жертвенный путь! — торжественно возгласил он на языке хинду. — Благословенна будь ты, ищущая, ты, чистая, ты, идущая путем жертвы, — благословенна будь, дитя мое, Камала...

Девушка вздрогнула и, словно защищаясь от орлиных когтей, подняла к волосам беспомощные руки. Задрожал и Чандака.

— Неправда! — прокричал из угла задорный, звонкий детский голос. — Неправда, это я — Камала!

Девочка отважно выступила вперед; она вся раскраснелась, глаза сверкали — вот такою встретил ее Афанасий в ту памятную ночь схватки с обезьяной.

А у старика лицо мгновенно превратилось в каменное изваяние; и только в самой глубине желтых глаз зашевелилась какая-то подавленная ярость, какая-то заглушенная угроза. Но Чандака уже заслонил младшую дочку.

— Гуру, не гневайся, — заговорил он отрывисто и смущенно. — Дитя говорит верно. Имя покойной жены мы дали нашему второму ребенку. А первая, старшая — ее рождение было для нас как свет луны в темную ночь, — мы ее назвали Чандрой [1].

— Старая память мне изменяет, — словно думая вслух, тихо заговорил старик, — прошедшее перекликается с настоящим; и мне показалось, что я опять вижу перед собою мою кроткую Камалу, мое доброе любящее дитя. Но с тех пор прошло пятнадцать лет. И выросла дочь Камалы, похожая на свою мать, как почка лотоса на другую почку... Ну, что ж? Таков ход событий — законный, утвержденный богами... Имеет ли значение ничтожная моя ошибка?.. Подойди ко мне, дитя мое. Благословляю тебя, моя чистая, добрая Чандра! Подойди и ты, — обратился он к Чандаке. — Благословенна ветвь, питающая два благоуханных цветка! Благословен отец, вскормивший двух прелестных доче-

[1] Чандра — луна.

рей!.. Подойди и ты... Не смущайся, подойди ко мне, смелая маленькая Камала! Ты правдива и бесстрашна...— он протянул руки к ребенку.— Но скоро наступит твой брачный возраст. И когда тебя с пением отведут в дом свекра, ни муж твой, ни его отец не потребуют от тебя ни правдивости, ни бесстрашия. От женщины требуют только мягкости — и получают покорность. Благословен путь покорности! — и он возложил руки на головку Камалы.

— А ты, Афа-Нази? Подойди же, подойди ближе к Гуру! Благослови его, Гуру, благослови нашего Афа-Нази,— кричала Камала и своей крепкой ручонкой тянула Афанасия ближе и ближе к высокому старику.— Он как родной нам! — толковала она.— Наш милый гость, Афа-Нази! Он самый лучший на свете!

— Калабинга, друг мой сердечный! Верна ты мне по гроб жизни,— пробормотал Афанасий.— Никому не выдашь...

— И опять ребенок сказал правду,— отозвался Чандака.— Взгляни, Гуру, на дорогого нам гостя,— он пришел сюда из-за многих морей, потому что возлюбил прекрасную нашу страну. Не откажи ему в благословении.

— Благословен путь любви,— произнес старик, касаясь темными пальцами золотых волос Афанасия.

— Спасибо, отец,— вежливо вымолвил Афанасий; он по-русскому обычаю назвал незнакомца отцом из почтения к его возрасту.

— Это наш Гуру. А Гуру значит духовный учитель, наставник в делах веры,— объяснял Чандака.— В нашей стране Гуру почитается выше родного отца. Ему повинуются беспрекословно. А имя нашего Гуру — Сарьята Пракаси. На древнем языке священных книг это означает: факел истины. Так и зови его.

— Все равно вовек не запомню,— бормотал под нос себе Афанасий.— Ну, что ж поделаешь, в стаю попал — лай не лай, а хвостом виляй.— И он вместе с Чандакой глубоко склонился перед безмолвным Сарьята Пракаси.— Так, стало быть, давнее ваше знакомство? — спросил он явственнее.

— Я воспитал мать этих девочек,— задумчиво ответил старик.— Она была усладой моего сердца, радостью моих глаз. Еще она не достигла возраста этого ребенка,

когда я поместил ее в храм бога Вишну в богатом городе Биченегире на юге Индии. Там надлежало ей оставаться до старости, пребывая в мудрости, кротости, благочестии и чистоте. Но когда она возросла и стала как эта девушка... — Старик полузакрыл глаза, лицо его окаменело. — Она была такая, как Чандра... — повторил он, отдаваясь воспоминаниям. — Тогда голос греха коснулся ее чистого слуха...

— Гуру! — умоляюще сказал Чандака. — Будь милостив к нам. То был голос любви...

— Голос греха позвал ее, — повторил Гуру с бесстрастием каменной статуи. — И прозвучал в ее ушах слаще, чем голоса мудрости, кротости, благочестия и чистоты. Ушла! — закричал он внезапно с такой яростью, что все оцепенели. — Ушла, покинула храм! О, грех! О, беззаконие!

Глаза его сверкали, каменное лицо было страшно. Орел настиг свою добычу.

— Гуру! — Молил жалкий Чандака. — О, сжалься, заступись, отведи гнев богов от моих детей! Неужели эти девочки ответят за грехи матери и отца?

— Неужели ты думаешь, что грехи ваши останутся без искупления? — угрюмо спросил Гуру. — Молодой брамин увел прислужницу храма! Двойным грехом согрешили вы, двойную клятву нарушили, двойное преступление совершили! И ты надеялся, что боги потерпят?

— О святой наставник! — Чандака упал к ногам старца, целовал его темные жилистые ступни. — Яви твою милость!.. Смягчи гнев богов! Разве мои дети не знали горя, разве не выросли они без материнской ласки, разве мало скорбел я, лишившись в молодых годах моей светлой подруги? Боги видели мою жизнь. Она вся была отдана детям...

— В этом ты прав, и за это я благословил тебя. Но не жди прощенья тому, чего не прощают ни боги, ни люди!

Словно камни в колодец падали слова старика — гулко, медленно, тяжко...

— Ты просишь о милости? А это разве не милость, что я пятнадцать лет выслеживал тебя по всему Индостану? Для чего, ты думаешь, мне нужны были эти поиски? В чем, по-твоему, моя цель? Только в том, чтобы

наказать тебя, безбожник, клятвопреступник, осквернитель храма? Нет, я хочу другого. Мне все равно, что будет с тобой после смерти; меня не тревожит, куда попадешь ты в будущей жизни. Но я хочу, чтобы грех моей милой Камалы был искуплен, чтобы разгневанные боги сняли гнев свой с ее кроткой души. Мне надо, чтобы ее чистая тень без препятствий вошла в царство несказанного, бесконечного и светлого блаженства. Ради этого я искал тебя. Ради этого принял труды и муки, и долгие годы странствий. И вот я у цели. Близится час искупления. Да, искупления! Грех Камалы будет заглажен.

Афанасий отвернулся; но и отвернувшись, видел, знал, как корчится Чандака у ног неумолимого старика, как Чандра, завернувшись с головой в свое сари, застыла без движенья, без звука, как, припав к старшей сестре, охватила ее со всей силой своих детских рук перепуганная сестренка...

— Диди! Диди! — повторяла Камала. — Я не отдам тебя! Я не пущу тебя! Диди, моя диди!

— Глупый и злой ребенок! — сказал Чандака, и никогда еще он не говорил с Камалой так горестно, так сурово. — Хочешь ли ты, чтоб мать твоя, там, за могилой, так и не нашла покоя? И чтобы праведный гнев богов тяготел над твоим отцом до самой смерти и после смерти?

— Я хочу, чтобы диди не уходила! — обливаясь слезами, крикнула Камала.

Чандра ответила еле слышно:

— Сестра, если боги желают, чтоб я ушла от тебя, кто может меня удержать?

— Я удержу! — кричала Камала. — Я не пущу тебя! Нет, диди, нет! Возьми меня с собой! Уговори богов, чтоб они меня тоже взяли! Вдвоем, вместе с тобой! Упроси их, уговори!

— Будь покорна! — отозвался безжизненный голос Гуру. — Только покорностью надейся смягчить волю всевышних!

— Я буду! Я буду покорна!

И Камала так отчаянно зарыдала, что, оставшись, наконец, один, улегшись на подстилку свою и задув светильник, Афанасий долго еще ворочался в темноте: все сердце она ему разбередила.

Глава II

КАК ОНИ ВЕРУЮТ?

Злое предчувствие крепко завладело Афанасием. Он видел: Гуру пришел неспроста. Над Чандакой тяготела какая-то старинная непрощенная вина, и расплата за эту вину ложилась почему-то на Чандру. Да, Чандра была в опасности. Но почему и как?

«Пришел — и словно цепью всех заковал! В доме ни света, ни радости. Камала ревет, как над покойником. От Чандаки — словно вся дружба врозь! — слова путного не добьешься. Чандра будто с креста снятая... Ну, чего ему от девчонки? Какой с нее спрос? Жизни еще не понюхала, а уже отвечай за что-то...» — тщетно ломал себе голову Афанасий. И тяжко-тяжко было у него на сердце, и крепко-крепко хотелось ему помочь друзьям, сложить с Чандры ее непосильную ношу, вызволить девушку из непонятной беды.

— А как тут вступишься? Дела-то ихние, семейные. Кто я им? Чужой, иноземец, пришел невесть откуда... В чужой монастырь со своим уставом не ходят...

Все же попытался Афанасий по-старому, по-сердечному подойти к Чандаке.

— Чандака! Друг я тебе или нет?

Не отвел Чандака горящих черных очей от ясных серых глаз Афанасия. Взглянул было неробко и прямо, но тут же словно бы дунул на свой огонь, и огонь его разом погас. И этот его чистый черный взгляд как будто бы заволокло пеленой. «Спрашивай, не спрашивай — все равно ничего не скажу», — прочитал Афанасий в непроницаемых этих глазах. И больно же ему стало! Так бывает, когда у тебя на глазах умирает дорогой тебе человек и ты, холодея от ужаса, видишь, что он уходит, уходит и удержать его нельзя...

— И что ни говори, а не свой я им!

Нет, не свой. Милые люди, к которым он так привязался, закрыты они для него; не войти ему в их непонятную жизнь, не изменить таинственной их судьбы. Эта судьба, эта жизнь сложилась по каким-то своим непреклонным законам — и ничего тут нельзя поделать, ничего тут нельзя даже понять...

— Чужая душа — потемки!

А что там все-таки, в этих потемках? Как на самом-то деле мыслят они, эти индийцы? Что они любят, чего желают, о чем скорбят?

— Распознать бы, как они веруют? Слышь, боги вот у них. Что же это за боги?!

Ну, уж если только загорелся Афанасий Никитин желанием что-то узнать, — кончено: ничем его не переломишь и, как говорится, дубиной не вышибешь из него этого желанья. Ничего он не побоится, не постесняется никого... И, не долго думая, пошел Афанасий разведывать про индийских богов, пошел прямо вот к этому страшному Сарьяти Пракаси. Не зря же толковал Чандака, что старик — пандит, то есть ученый богослов. У кого же тогда и поучиться уму-разуму, если не у него? Только крепко не хотелось Афанасию называть старика «Гуру» — какой же он, в самом-то деле, Афанасию учитель или наставник? А грубить человеку, который годами старше тебя, — тоже не дело. И, подумав крепко, обратился к нему Афанасий так, как обращались индийцы к самым почтенным, уважаемым людям:

— Саркар, выслушай меня!

— Что тебе, чужеземец? — отозвался старик.

— Саркар, я слышал, что ученость твоя несравненна. И что преуспел ты в науке о божестве.

— Не отрицаю, — процедил величаво пандит.

— Просвети меня, темного. Расскажи, если можно, о вашей вере. Каким богам молитесь вы? Какие храмы у вас? Какие в них существуют обряды?

Глянул пандит на смельчака — будто клювом железным клюнул. И помстилось на миг Афанасию, будто старик этот видит его насквозь и знает о нем даже то, чего и сам о себе Афанасий не ведал. Оцепенел он, — а Гуру вышел из хижины, поманив его за собою. Афанасий последовал за ним. Гуру уже сидел на земле у подножия старого баньяна, косматого в сетях своих воздушных корней.

— Пойду хоть чистую циновку принесу, — вызвался было Афанасий.

— Ничего не надо, — остановил его Гуру. — Садись на землю, — из нее мы вышли и в нее вернемся; никто из нас не смеет презирать земли.

— Позволь, отец, хоть листьев нагребу под тебя, — предложил опять Афанасий.

— Только сухих, — согласился Гуру. — Зеленые листья не мертвы, в них есть живая душа. Нельзя наносить ей обиды.

— Будь по-твоему. Раз закон такой, — говорил Афанасий, проворно сооружая сиденье из сухих листьев.

И долго беседовали эти два человека, такие несхожие, сидя в тени огромного дерева. Афанасий напряженно слушал, Гуру терпеливо поучал.

Ученый пандит, очевидно, любил порассуждать о делах веры и был в рассуждениях этих весьма искусен. Любознательность собеседника была ему заметно приятна. Он не жалел усилий и подробно, обстоятельно посвящал Афанасия в хитрости индийских вероучений.

Темны были речи Гуру; нельзя сказать, чтобы Афанасий так уж хорошо в них разобрался, да и познаний в языке хинду ему все-таки не хватало, тем более что Гуру часто употреблял древние санскритские слова. И если бы Сарьята Пракаси смог прочитать записи в заветной Афанасьевой тетрадке, — он, надо думать, ужаснулся бы тому, как плохо поняты его объяснения. Но для Гуру тетрадь Афанасия была недоступна, и он только радовался неутомимому вниманию русского путешественника.

Гуру подробно рассказал об индийских божествах, которые владеют тремя мирами: небесным, человеческим и подземным; и о том, что боги лишены тени, что они не мигают, не шевелятся при движении, не выделяют испарины. Толковал Гуру своему слушателю о том, как главный бог Брама — творец, созидатель вселенной — вышел из цветка лотоса, а цветок этот вырос из чрева старейшего бога Вишну. Добавил, что Вишну победил всех демонов и овладел небесами и воплотился на земле под именем Кришны. Поведал о восьми перевоплощениях бога Шивы, который поочередно становился землей, небом, водой, пламенем, ветром, солнцем, луною и мыслью. Открыл, что Шива и его супруга Парвати изображаются как одно существо, у которого правая сторона мужская, а левая женская. Сообщил попутно, что у Шивы восемь рук, что венец его украшен молодым месяцем, что вместо запястья он носит змею, а в руках держит шкуру слона. И о том, что каждый вечер Шива, потрясая слоновьей шкурой, пляшет со своей супругой под звуки священных гимнов. А супруга его

Парвати — иначе называемая Лакшми, — богиня счастья, красоты и богатства, держит в руке лотос — священный цветок любви. Есть еще бог Сканду с шестью головами и двенадцатью руками, сидящий на павлине. Есть Кувера, бог богатства, хранитель несметных сокровищ, — он одноглазый, с тремя ногами и восемью зубами, и ему прислуживают демоны с лошадиными головами.

Великие старания употребил Гуру, чтобы Афанасий полностью усвоил древнее индийское учение о Мировой Душе. Мировая Душа, Атман, объяснял Гуру, — это первооснова всего существующего; самое высшее счастье, доступное человеку лишь после смерти, — есть слияние с Мировой Душой, иначе говоря — переход в состояние вечного блаженства. Это предел людских желаний, неописуемый и бесконечный восторг. Для того чтоб удостоиться такого счастья, толковал вдохновенно Гуру, нужно в течение всей земной своей жизни беспрекословно исполнять волю богов, приносить им дары и неустанно, тысячекратно повторять их имена. Если человек умер, погруженный в благочестивые мысли, и на устах его в миг смерти трепетало священное имя Шивы или Кришны, — душа такого счастливца, немедленно вслед за его последним вздохом, сливается с Мировой Душой и вступает в обитель вечного блаженства. Вот почему так для человека важно — умереть во время благочестивых размышлений и с именем бога на устах. А чтобы вернее достичь блаженства, верующий может покончить с собой в ту самую минуту, когда ум его устремлен к божеству, а уста произносят священное имя. Если в такую минуту верующий индиец бросится в огонь или утопится в водах священной реки, то вечное блаженство ему обеспечено. Самое главное для человека — это его последняя предсмертная мысль. Для самого страшного преступника, после целой жизни греха и порока, достаточно обратиться к богу в свой последний миг, и он немедленно войдет в светлое небесное царство.

— Вот зачем я искал Чандаку, — открыл свои мысли суровый Гуру, тронутый усердным вниманием Афанасия. — Я пришел к нему не карать и наказывать, а напомнить и предостеречь.

— Позволено ли мне узнать, чем грешен Чандака?

И смогу ли я это понять? — решился спросить Афанасий.

Гуру ответил:

— Понять это можно, но сначала надо, чтоб ты узнал и хорошо себе уяснил, что такое в Индии варна.

И стал толковать:

— Весь народ, все население Индии разделено на большие группы, так называемые варны (касты). Этих сословий, в основном, четыре: высшая варна — это брамины; в нее входят священнослужители — жрецы и слуги храмов, а также отшельники-аскеты, проводящие свой век в молитвах и в общении с божеством; вторая по значению каста — это кшатрии (воины и правители государств); третья — вайсья (торговцы и ремесленники); четвертая — судры (земледельцы). Вне этих четырех групп также существуют люди; их называют различно: неприкасаемые, отверженные, угнетенные. Они считаются людьми низшего сорта; всякое общение с ними запрещено. Но и из высших четырех варн каждая существует обособленно от других. Человек, родившийся в одной варне (касте), остается в ней до могилы; перейти в другую касту нельзя. Индиец не имеет права взять себе жену не из своей касты; брак, в котором муж и жена происходят из разных каст. считается ужасным преступлением; такие преступники «теряют касту», а это самое страшное, что может случиться с индийцем. Недопустимо не только жениться на женщине чужой варны — запрещается даже совместно вкушать пищу членам различных варн. Мало того, если к индийцу во время еды подойдет член другой варны, то пища уже осквернена его взглядом и должна быть выброшена. Варны замкнуты, неподвижны, неизменяемы...

— Строгие порядки у вас, — вымолвил Афанасий.

— Эти порядки существуют в Индии целые тысячелетия, — сказал, как отрезал, Гуру. — На них держится наша жизнь. Эти порядки даны нам самими богами, и жестокая кара постигает нарушителей.

— А Чандака разве нарушитель? — добивался своего Афанасий.

— Чандака — преступник, — мрачно ответил Гуру. — Он — брамин, священник храма Шивы, взял жену из низшей касты, из касты судра. Правда, когда он впервые увидел Камалу, происхождение ее еще не было ему

известно. Да и никто не знал, что отец Камалы был слугою моего отца, а мать ее — дочерью служанки, которая меня вынянчила. Все они умерли в голодный год. Умирающая моя айя[1] умоляла меня спасти от голодной смерти ее внучку. Я обещал и сделал. Я взял малютку к себе и растил как мог. Она меня называла дада[2], и все думали, что это моя сестра. Я и любил ее как сестру — это видели люди и знали боги! Пяти лет она стала учиться танцам, а восьми лет вошла в число храмовых танцовщиц... Как она танцевала! Сама богиня Сарасвати — владычица искусств и наук — вселялась в Камалу во время священного танца. Искуснейшие плясуньи девадаси танцевали в храме перед небожителями — и лучше всех была моя Камала! Прелесть ее танцев смягчала всевышних. Сердца молящихся наполнялись весельем, и все возносили хвалу богам и благодарность Камале. Позабавив небожителей, усталые девадаси расходились по своим домам, а Камала возвращалась в храм; там жила она, не видя никого, кроме молящихся, не говоря ни с кем, кроме браминов. И я был спокоен за нее. Спокоен? Да, я был слеп, я утратил разум. Я забыл, что покоя нет на земле, что наши земные радости — это только златотканый покров, покрывало Майи, расшитое мечтами. Оно переливается красками и сверкает огнями, а под ним — черная, глухонемая бездна! Наступил час, и блистающий покров сдвинулся, и мне открылась зияющая бездна. «Дада, — сказала мне Камала, — возьми меня из храма. Молодой брамин, по имени Мохит, сватается ко мне. Я обещала войти женой в его дом». — «Нельзя! — сказал я. — Вы разъединены законом варны». Не задумавшись, Камала возразила: «Мы соединены законом любви».

— А припала молодая, как рубашка ко плечу, — прошептал Афанасий по-русски.

Сарьята Пракаси посмотрел на него затуманенными глазами. Афанасий ахнул — неужели?! Да, слезы, слезы стояли в этих желтых жестоких глазах. И лицо старика уже не было лицом хищной птицы; оно ожило, оно трепетало подлинной человеческой болью; живое страданье проступило сквозь сухие и резкие черты.

[1] Айя — няня.
[2] Дада — старший брат.

— Я позвал к себе Мохита, — ослабевшим голосом рассказывал Гуру. — Я открыл ему все про Камалу. Открыл, что родители ее были судра и что если он, брамин, женится на ней, то потеряет свою касту, а это хуже для него, чем жизнь потерять. Он выслушал содрогаясь; он лицемерно благодарил меня, сказавшего ему правду. И в ту же ночь Мохит с Камалой бежали из Биченегира.

— Упустишь огонь — не потушишь, — сказал Афанасий сперва по-русски, потом на хинду.

— Да, — откликнулся старик, отвечая не то ему, не то своим мыслям. — Я упустил... Да, я упустил этот огонь...

— Видно, так на роду им было написано. Что же тут делать, Гуру!

«Гуру! Ру! Ру!» — закричал попугай с вершины баньяна, и защелкал, защелкал своим кривым клювом, и запрыгал, заплясал на своих красненьких лапках.

— Замолчи! — нетерпеливо крикнул Афанасий, прицелившись камешком в болтливую птицу.

— Не надо! — запретил старик и так посмотрел на Афанасия, что рука у того сама опустилась.

— Никогда не делай этого, — повелевал старик. — Оберегай жизнь. Не ты ее создал, и не тебе ее отнимать. Оберегай жизнь птицы, зверя, даже червя, даже мухи. У всякой твари, и у травы, и у дерева есть душа. Оберегай жизнь, щади ее везде и повсюду.

— Буду щадить, — обещал Афанасий. — И правда ведь, жалко... Ну, а что же с теми-то было? Так и скрылись они?

— Они бежали, — говорил старик, снова уйдя в себя, не видя собеседника, и прежнее, неумолимое, непреклонное выражение снова сковало его орлиные черты. — Они покинули наш великолепный и многолюдный Биченегир, наш семистенный город с его дворцами, базарами и садами. И боги внушили мне мысль пойти за ними. Я напал на их след в Северной Индии. Мохит снял с себя священный шнурок, с которым брамин не должен никогда расставаться. Он принял другое имя и изучил новое ремесло. И я также не вернулся больше во храм. Я стал отшельником.

— У нас они тоже бывают, — сказал Афанасий. — Тоже наги и босы ходят.

— Мохит — он теперь назывался Чандака — и бедная моя Камала вступили в вольное супружество. Они поженились без всяких обрядов. Ни один брамин не мог благословить их ужасного брака, и они жили без благословенья, и жизнь их была безрадостна и унизительна. Их нигде не принимали на работу, и никто не покупал изделий, созданных их руками. В поисках лучшего они переходили из города в город, и я следовал за ними... Десять лет! Десять лет нищеты и тщетных усилий! Рожденные дети росли без молока, без меда, без масла... Такова была воля оскорбленных богов.

— Как же... боги... — бормотал Афанасий. — Бог-то бог, да и ты, видно, был не плох...

— После смерти Камалы Чандака и дети ушли в Бидар, и я потерял их из виду, — хрипло и устало продолжал старик. Голос его замирал после каждого слова. — И вот уже пять лет, как мы не встречались. За эти годы у меня не было ни одной спокойной ночи и ни одного светлого дня. Как бы мог я спать, как бы мог я греться под солнцем, когда непрощенный дух Камалы бродит средь ужасов смертного мрака? Если бы смерть моя могла вернуть ей вечное блаженство! Я бы не колебался. Но мне не дано. Есть один только способ загладить ее вину. Только один. Если дочь ее Чандра... Если Чандра захочет... пожалеет...

Он умолк. Силы его иссякли.

— Отдохни пока, Гуру. Сегодня я, спасибо тебе, много понял, — поблагодарил Афанасий и подумал, что все-таки, против воли, называет того учителем. Словно заколдовал его необычайный старик.

— Благословен будь жаждущий знаний, — прохрипел Гуру, видимо совсем уж утратив силы. Однако привычка проповедовать никак не оставляла его, и, передохнув минуту, он снова заговорил, еле слышно, но внушительно и настойчиво: — Для души в чем причина страданий? В подчинении телу. Откуда подчинение телу? От страсти. Откуда страсть происходит? От гордости. А гордость? От недостатка размышлений. А недостаток размышления? От невежества. Итак, страдания все от невежества. Единственное целебное средство — наука. Учись, учись, иностранец!

— Учиться мне никогда не лень, — от всей души согласился Афанасий.

— Завтра я расскажу тебе про наши религиозные секты. Это будет не так легко: сект много, и различия их неясны, почти неуловимы. Но ты хочешь понять и поймешь. А потом... потом я тебе покажу наши храмы.

«А он вроде бы и не больно зол», — подумал про себя Афанасий и невольно снова вслух произнес:

— Спасибо, Гуру, спасибо!

Он так задумался, что не видел, как удалился Гуру. Прислонившись спиной к стволу баньяна, Афанасий отвязал от пояса медную чернильницу и спешил скорей, скорей записать все в свою тетрадку. Но сумерки быстро сгущались, и до полной темноты он успел записать только:

«В Индии восемьдесят и четыре веры. И все поклоняются идолам. И вера с верою не пьет, и не ест, и не женится».

— Афа-Нази! Где ты прячешься? Афа-Нази! — взывала из темноты неугомонная Камала.

— Я здесь, Воробушек мой! Здесь, дружок мой верный, сердечный!

— Афа-Нази!

Камала доверчиво прижалась к нему. Худенькие ласковые руки обвили его шею.

— Афа-Нази! Знаешь что? Хорошее-хорошее?

— Что такое? Я думал, хорошему ничему уж и не бывать.

— Нет, будет! Будет! Гуру теперь тебя любит!

— Да ну? А ты почем знаешь?

— Он сказал отцу! Сам сказал: «Это наш искренний друг. Человек пытливый и любящий размышлять».

— Вот как?

— Да. И еще... Еще он сказал... Да, да! Сказал, сказал!

— Да не прыгай ты так! Говори толком!

— И еще... Он сказал, что, если ты захочешь, он возьмет тебя с нами в Парвату!

— Куда, куда?

— В Парвату! На пуджу, на богомолье! Гуру сказал, мы все пойдем, как только пройдут дожди! Пойдем в Парвату, в большой храм! Праздновать священную ночь бога Шивы! И ты с нами, Афа-Нази, ты с нами!

Глава III

И. БОГОМОЛЬЕ

Вот и снова кончился период дождей. Настала индийская весна. Четвертая весна на индийской земле! Невольно вздохнулось Афанасию и горько и сладко подумалось о родной Руси. Четвертый год! Шутка сказать...

И опять бредет он по каменным индийским дорогам. Снова на высоких баньянах вьют гнезда белоснежные чернохвостые журавли. Вечно жаждущие павлины радовались дождям, а теперь, раскрыв веером золотисто-зеленый хвост с лазурным глазком на каждом пере, важно выступают друг перед другом в дивной торжественной пляске. Тонкой и светлой зеленью покрылись рисовые поля. По межам светло-зеленых полей темнеют деревья грецкого ореха с разрезной и кудрявой листвой, а в темной листве суетятся, возятся и тоненько вскрикивают маленькие белые попугаи с ярко-алыми лапками. Из зарослей тутовника жирафы подымают на длинных шеях свои хорошенькие головки с рожками; сверкают их любопытные, добрые глазки. И опять доверчивые газели бесстрашно бегут за путниками, но Афанасий уже присмотрелся к ним, перестал удивляться. И не дивится он больше ни на многоярусные кровли дворцов, ни на колоколообразные крыши храмов. Все уже видано: и дворцы, и храмы, и хижины. Только все еще не устало радоваться сердце тому, как на глазах разрастается пышная зелень, а в сочной зелени деревьев качаются, отягощая ветви, причудливые цветы и радостно подставляют солнцу алый и желтый бархат молодых лепестков.

— Смотри, смотри, Афа-Нази! Это дерево осака.— И радостная Камала указывает на деревья, усеянные красными, оранжевыми и бледно-желтыми чашечками.— Это дерево бакуль!— И клонит ветку с вечнозеленой листвой, покрытую мелким белым цветом, и сладчайший аромат далеко вокруг разносится с нежноцветущей ветки.

— Умница ты моя! Все-то ты знаешь!

Камала зарделась, глаза засияли.

— Да, о цветах я знаю все, Афа-Нази. Знаю, как их



назвать, как растить, как плести гирлянды. Ведь цветы — это самое, самое лучшее на земле! Правда?

— Как тебе сказать... Может, и правда, пока ты мала. А подрастешь — не так заговоришь.

— А как я заговорю, когда подрасту?

— А так вот и скажешь одному человеку: «Милый ты мой! Без тебя и цветы не цветнó цветут, без тебя и деревья в лесу не краснó растут, без тебя и солнышко в небе темно горит...»

— Нет, Афа-Нази, нет! Не скажу я так никому. Не будет такого человека. Вот разве только я скажу это тебе. Когда вырасту.

— Выдумала!

— А что? Ты не хочешь?

— Как не хотеть! Только где ты меня возьмешь? Когда ты вырастешь, не будет меня здесь.

— А где ты будешь? Ты уедешь?

— А как же? Домой, на Русь. До старости, что ли,



тут у вас гостить? Кажись, все уже перевидано. Вот еще только богомолье ваше посмотрю — и пора. Ох, пора! В гостях хорошо, а дома лучше.

— У тебя дома лучше, чем у нас?

— Любому-каждому у себя на родине лучше.

— А Русь — хорошая земля?

— Русь-то? Сказать невозможно, до чего хороша. Одно слово — Русь!

И, пользуясь тем, что Камала понимала по-персидски, Афанасий прочитал ей из своей тетрадки нечто вроде заклинанья, что составил он в бессонные ночи из персидских, арабских и тюркских слов:

«Русская земля да будет богом хранима!

На этом свете нет страны, подобной ей. Хотя начальники русской земли и нечестны, но — да устроится Русь! Да будет в ней справедливость!»

— Хорошая молитва, — одобрила Камала и низко-низко опустила головку.

— Чего пригорюнилась, Калабинга моя? О чем загрустил мой воробушек?

— Ты уедешь... — прошептала Камала.

— А уеду — тогда и горюй. Чего заранее убиваться? Да не сегодня еще и не завтра тронусь в дорогу. Нынче и не пробраться мне: кругом смута, мятеж. Перессорились, передрались меж собой государи индийские. Мирному человеку ни пройти ни проехать. Всюду война. Подожду еще — не будет ли замирения? Тогда уж поеду. Ну, отлегло от сердца? Вот и ладно. Гляди веселей. Да не ходи, как Чандра! Уж до того тоскует, что глядеть больно. Ты не знаешь, о чем она горюет? Не говорила тебе?

— Нет... Я думаю, она, наверное, боится.

— Чего?

— Что плохо протанцует. На празднике Шивы Ратви будет много танцев — и Чандра должна танцевать. Вот она и боится, что не сумеет.

— А что, разве плохо обучена?

— Нет, она очень хорошо обучена. Ее учила еще наша мама. И все говорят, что Чандра танцует почти так же, как мать. Это значит — очень, очень хорошо. А просто она боязливая такая. У нее всегда болит сердце, и вечно ей снятся какие-то страшные сны...

— Сердце — вещун, — пробормотал Афанасий и оглянулся, отыскивая глазами Чандру, но не смог ее сразу найти. Чандра затерялась в многолюдстве. Паломники шли толпами, говорливыми, пестрыми, суетливыми.

«Когда это столько народу набралось?» — удивлялся про себя Афанасий. Рано утром, пока еще не вставало солнце, вышли они из Бидара впятером: Чандака с дочерьми, Гуру и он, Афанасий, — и долго шли по пустынной дороге. А к полудню широкая мощеная дорога вся кишела народом. Перегоняли друг друга богомольцы, и пешие и конные, отдыхали, присев у обочины, и семьи с маленькими детьми, и калеки, что еле ковыляли или ползли на карачках, и больные на носилках; одних несли на руках бедные родственники, других везли богатые на верблюдах и на коровах. По окрестным лугам извивались тропинки, и было издали видно: отовсюду, как муравьи, ползли люди, чтобы выйти на большую дорогу. Тысячи и тысячи богомольцев спешили в Парват-

ский храм на почитаемый индийцами праздник, готовясь насладиться театральными играми и священными плясками, как положено издавна в эту ночь.

— Вон моя диди! — рассмотрела зоркая Камала. — Вон там, далеко, под большим баньяном. Там Гуру сидит, женщины вокруг, и она... Наверное, что-то рассказывают... Пойдем к ним, Афа-Нази?

Они подошли. Гуру, как всегда, сидел на земле, держась очень прямо; был и сидящий он выше всех. Десятка два богомолок в цветных сари расселись вокруг на траве; все повернули головы к Гуру, как цветы к солнцу; все, не спуская глаз, смотрели на пандита и, не проронив ни слова, слушали его поучения. Афанасий не сразу нашел между ними Чандру, не сразу различил ее желтое сари, ее склоненную головку на гибкой шее, ее гладкие черные волосы, ее большие любопытные глаза. Он узнал ее скорее по тому выражению доверия и внимания, с которым она всегда слушала Гуру, — доверия и внимания, поглощающего, переполнившего ее душу.

Гуру уже кончал свой поучительный рассказ. Он встал. Женщины негромко заговорили, словно ручеек зажурчал. Чандра мгновенно выпрямилась, вскочила и, словно ничего не видя своими широко раскрытыми глазами, пошла мимо Афанасия.

— Чандра! — крикнул он неожиданно для себя и вдруг схватил ее за руку.

Девушка стояла, стройная, тоненькая, и безмолвно смотрела прямо в лицо Афанасию. За ее спиной колебались висячие корни баньяна, как будто бы шевелил лапами гигантский паук.

— Чандра! Ну, что смотришь, будто со сна? Никак не признала? — Он крепче сжал ее слабую, холодную руку.

Лицо Чандры порозовело, зрачки у нее сузились, взгляд определился. Она тихонько отняла потеплевшие пальцы и слегка улыбнулась Афанасию. Как ножом резанула его эта неожиданная улыбка, беспомощная и нежная, как у больного ребенка.

— Чандра! Голубка белая! Сестрица родная!

Чандра засмеялась тихим-тихим звенящим смехом, будто бы надломанный серебряный колокольчик зазвенел.

— Афа-Нази, — отозвалась она робким шепотом. — Дада Афа-Нази!

Она назвала его братом! Нежность, испуг, отчаяние, а главное, жалость, жалость невыразимая — все вместе хлынуло на Афанасия, так что у него померкло в глазах и дрогнуло все его большое сильное тело.

— Что тебе, дада? — ее голос окреп, зазвучал уверенно, не смущенно.

— Чандра, откройся мне! Что ты затеяла? Что ты хочешь сделать с собой? Постой, подожди... А может, тебе запрещено говорить? Может, ты обет дала? Тогда молчи! Только не говори неправды.

— Афа-Нази! Неправды нет у меня ни в сердце, ни в мыслях. А что я сделаю, — не знаю. Не знаю сама, Афа-Нази.

— Да что им... что ему от тебя нужно?

— Не думай плохо про него, Афа-Нази. Это святой человек. Он умолил богов, чтоб они позволили мне искупить грех матери. А ему от меня ничего не нужно, никакой темной мысли у него нет. Он прав во всем.

— Ну, сделали себе святого... Не допустят теперь про него ни словечка... Ты мне-то скажи, ты скажи мне только одно: как же ты материн грех искупишь? Чем то есть?

— А этого, Афа-Нази, я до последней минуты не буду знать.

— До какой последней минуты?

— Завтра — святая ночь, большой праздник.

— Ну, знаю.

— Девы храма, танцовщицы, будут плясками развлекать божество.

— Знаю и это.

— Буду плясать и я. Все помыслы, все желания мои вложу в священный танец. Буду так танцевать, чтоб божество смягчилось и открыло мне путь мой. И как внушено мне будет во время танца божественной силой, так и сделаю.

— Ой, Чандра, дитя мое светлое! Побереги себя, об отце подумай, о сестренке! Мой совет: вспомни о них, как будешь плясать свои пляски...

— Нет, не стану, Афа-Нази. Буду думать только о матери, о том, как очистить душу ее от греха. А если помнить об отце, о сестре, не смогу танцевать, как надо.

Не гневайся, Афа-Нази, не смогу. Прости меня, что не исполню твоего совета.

— Голубка чистая! Ты прости меня, дурака! У тебя и так на сердце камень лежит, да, почитай, не камень, а гора целая, а я туда же еще с советами! Ты не слушай меня!

И поклонился Афанасий Чандре русским большим поклоном, коснувшись земли золотой копной буйных кудрей.

Поклонилась ему и Чандра, — как кланяются индийцы, дотронувшись обеими руками до земли. Поклонилась, выпрямилась, и птичкой порхнула на дорогу, и пустилась догонять далеко вперед ушедшего Гуру.

Стоит как вкопанный Афанасий и глядит ей вслед. Унеслась легкая, как видение сонное. Тоненькая, как свечечка; дунь — переломится. Плечи детские, узенькие. А горя-то, горя на этих плечах!..

Кругом богомольцы шумят. Дети плачут, больные стонут, старики молитвы читают, коровы мычат, верблюды ревут. Откуда столько скота? А, понятно. Это на жертву богам ведут. Кто что может, тот то и жертвует; кто — яблок да орехов корзину, кто — быка с коровой. Всякое даяние благо... А народу-то, народушка!

— Откуда это столько народу набралось?

Оказалось, не про себя подумал, а вслух спросил. За плечами голос Чандаки ответил:

— Со всей Индии. В эту ночь до ста тысяч богомольцев собирается в Парватский храм на пунджу[1].

— Вон что! — оглянулся Афанасий. — Немалое богомолье. Записать, пожалуй, в тетрадочку. Вернусь на Русь — буду читать, перечитывать.

— Где диди? — подбежала Камала.

— В самом деле, где Чандра? Ты не видел ее, Афа-Нази? — обеспокоился отец.

— Как не видел! Поговорили, что меду напились. Вон бежит — Гуру догоняет. Не может она без него минуты продышать. Как приколдованная.

— Так и должно быть, — глухо отозвался Чандака.— Ученики обязаны следовать за Гуру повсюду и беспрекословно выполнять все, что он повелит. Для ученика Гуру — больше, чем родной отец.

[1] Пунджа — религиозный обряд.

— И долго этак? — поинтересовался Афанасий.

Чандака повел на него своими бездонными черными глазами.

— Долго, — сказал он, помолчав. — Пока не кончатся годы ученичества. — И, подумав, прибавил: — Иногда они длятся до самой смерти ученика.

— Вот те на! — ахнул Афанасий. — Значит, Чандра до смерти ему обречена? Так и будет за ним ходить, как коза за пастухом?

— Его мудрости все открыто.

— Уж больно вы в него веруете, в вашего Гуру! — возмутился наконец Афанасий. — Ну, откуда у него такая святость? Ученый он, конечно, не спорю. А все-таки человек, такой же, как и мы, грешные.

Чандака остерегающе поднял руку.

— Не говори так! Сарьяти Пракаса не простой человек. И не такой, как мы. Он — аватар.

— А это что такое?

— Это — воплощение божества на земле.

— Да что ты?

— Да. Ослушаться его грех. Каждое его слово — закон.

— А что ж вы тогда-то не слушались, когда молоды были? — не выдержал Афанасий. — Когда вы с Камалой твоей поженились? Ведь он запрещал тебе? А ты не послушал?

— Такова моя к а р м а, — прошептал Чандака.

Афанасий посмотрел на его измученное лицо, на запекшиеся губы.

— Что за карма еще?

— Карма — это расплата за все, чем мы согрешили в жизни своей. Все ошибки наши, все преступления, дурные дела, темные мысли — все вместе составляют карму. И каждому человеку, пока он живет на земле, положено искупить свою карму. Все земные страдания, все ниспосланные нам муки — все это искупление за карму. И ничто, ничто в жизни не пройдет бесследно. За каждый, даже самый малый, проступок мы должны ответить. Беспричинных страданий нет. Какие бы страшные муки ни выпали на твою долю, они заслужены. Их требует твоя карма.

— Вот как! Ну, а если ребенок мучается? Дитя неповинное?

— Значит, он согрешил в прежнем воплощении. Ведь мы не один раз приходим на эту землю.

— Так... Ну, а уничтожить эту самую карму никак нельзя?

— Никак. Карму нельзя уничтожить. Можно лишь передать. Святой аватар может снять с человека карму и возложить ее на другого.

— Мудреные дела... — покачал головой Афанасий.— Не под силу мне разобрать. Одно скажу: карма, не карма, а держи-ка ты дочку подальше от вашего Гуру. Сдается мне, не к добру он ее сбивает. Ты отец — тебе, конечно, виднее.

— Не говори так! — грозно сверкнув глазами, крикнул Чандака. — Не говори, Афа-Нази! Ты нам друг, ты великого сердца человек, но таких слов ты мне не говори. Мне даже слушать тебя грешно.

— Да ладно уж, не буду! Тебя не перемудришь, — промолвил Афанасий. — Соблюдай веру, в какой родился. Не зря сказано: что город — то норов, что край — то обычай.

Глава IV

КОЛОКОЛЬЧИКИ НА ЕЕ НОГАХ

Шли целый день; ночь отдыхали в убежищах, нарочно строенных для паломников, а утром, чуть свет, снова тронулись в путь и шли до самого вечера. Подвигались медленно; каждый богомолец нес с собой и припасы для своего пропитания, и дары — приношение богам. Из разговоров узнал Афанасий, что богомольцы побогаче предназначали богам и более существенные жертвы: значительные суммы денег, земельные участки и даже целые имения.

Только к вечеру второго дня завидели усталые путники храмы и стены Парватской обители.

— Ну и строение! — ахнул Афанасий. — С половину нашей Твери будет!

Ограда, по русскому счету длиной сажен восемьдесят (около двухсот метров) и до двух сажен вышины, была сложена из огромных равнообточенных серых каменных плит. Ограду украшало множество каменных извая-

ний; из камня выступали причудливые, страх наводящие лики индийских божеств. Афанасий различил бесчисленные двуглавые и трехглавые, шестирукие и двенадцатирукие изображения. Внутри ограды, посреди огромного четырехугольного двора, воздымался высокий храм с пятью стрельчатыми куполами; его окружали несколько меньших храмов, и каждый был увенчан одним колоколообразным куполом. Против главного храма помещался обширный зал для музыки и священных представлений.

По сторонам — галереи для ночлега богомольцев, кухни для гостей. С восточной и северной стороны темнели чудесные тенистые сады и доносился опьяняющий запах ночных цветов. Между деревьями проступала зеркальная водяная гладь, и в ней блеснули вечерние чистые звезды.

— Озера? Или пруды? — залюбовался Афанасий.

— Нет, при храме стоячая вода не годится. — Пояснил Чандака. — В таком месте должны быть только текучие воды. Это Кристна, священная река.

Перед главным храмом воздымалось огромное бронзовое изваяние бога Вишну с повелительно простертой рукой. Перед Вишну стоял иссеченный из черного камня любимый его бык, и оба изображения были обильно украшены цветами. Люди все подходили, подходили, одинаково склонялись перед бронзовым идолом и перед черным каменным быком — и цветы все сыпались и сыпались на неподвижные изваяния.

Но вот ударил большой колокол. Ему ответили гул и перезвон меньших колоколов, бой барабанов, бряцание цимбал, пронзительные голоса свирелей, гудение больших морских раковин и пение в храмах. После каждой молитвенной хвалы раздавался снова и снова зычный голос большого колокола, а цимбалы, свирели, барабаны и раковины отвечали ему с каждым разом протяжней и звонче. Это длилось до глубокой ночи. Когда же все хвалы и заклинания были пропеты и не осталось ни одного человека, который не поклонился бы, простираясь по земле и подымая руки к причудливым изваяниям, тогда жрецы приступили к угощению богов. Они поставили перед идолами столы и на столах расставили фрукты, сладости, рис, молоко, масло — всевозможную еду, кроме только мяса. Корова считалась священным

животным, и мясо ее не употреблял в пищу ни один индиец, и нельзя было его предложить богам.

Темные толпы народа повалили из храма; чуть ли не каждый богомолец нес зажженную лампаду. Чандака протянул Афанасию пустую скорлупу большого кокосового ореха; на донышке ее колебалось благовонное масло, и в нем плавал горящий фитилек.

— Идем к священным водам, — позвал Чандака. — Теперь во храме останутся только жрецы-брамины. Им разрешено присутствовать при трапезе богов. Пока народное шествие с лампадами движется к реке, небожители будут вкушать от наших смиренных приношений.

— Каменные-то идолы! Да разве они едят? — простодушно удивился Афанасий.

— Божественным своим духом боги воспринимают невидимую сущность приношений, — пояснил Чандака.

— Невидимая сущность — богам, а то, что видимо? Вот эти яблоки, масло, рис?

— Это — жрецам. Браминам.

— Так, понятно. А как узнать, что боги уже напитались и больше не хотят?

— Они об этом объявляют браминам. Брамины кормят их, украшают, укладывают спать, по утрам будят, омывают, венчают цветами...

— И всегда знают, чего боги хотят?

— Всегда. Брамины — посредники между людьми и богами.

— Ну что ж, идем!

И Афанасий двинулся за толпой, осторожно держа хрупкую скорлупу с тоненьким трепетным огоньком.

Когда они подошли к низкому и топкому берегу, множество лампад уже уплывало по течению священных вод. В темной зыби отражались, переливались бесчисленные плывущие огни, — как будто Млечный Путь во всей своей славе спустился на землю и, светло сияя, плывет по темным волнам.

— Это ты, Афа-Нази? Твоя лампада плывет?

Торжественная ночь угомонила резвую девочку. Камала притихла; глаза расширились, губы строго сжались, усиливая сходство с Чандрой.

— Не знаю... Плывет, должно быть. Не уследил. А что?

— Надо, чтобы плыла. А то будет горе, неудача.

Моя плывет хорошо. Вон, вон она! Плывет. А Чандрина — опрокинулась, затонула.

— Да, ну? А Чандра что?

— Немножко поплакала, потом перестала. Ушла в храм. Отец! Можно мне тоже... к Чандре?

— Да, дочка, иди. Будь с твоей диди.

— Всю ночь? Да, отец?

— Да, Камала. Всю ночь. Будь возле нее! Укрепи ее силы. Мы все в эту ночь будем думать о Чандре. Да возрастет ее решимость, да не слабеет ее верность, ее любовь!

Чандака и Афанасий пошли в крытую галерею, где расположились на ночлег пришельцы. Тысячи людей лежали вповалку, перемешались старые и малые, здоровые и больные. Дети кричали, больные стонали. К утру многие из здоровых тоже стали стонать и бредить, дрожа от лихорадки. В этой скученности и духоте всякая зараза распространялась быстро.

Кое-как миновала беспокойная ночь. Перед рассветом снова грянули колокола, возвещая утреннюю службу. Восток еще не алел, а уже в темных садах мужчины и женщины обрывали цветы для приношения. В храмах зажегся неяркий свет.

Толпа богомольцев наполнила храм. Опять послышалось громкое пение, опять тысячи людей то склонялись до земли перед изваяниями богов, то, выпрямившись, простирали к ним руки.

Чем выше восходило солнце, тем сильнее звучали раковины, тем слаще пели свирели в сопровождении барабанов и цимбал, тем громче неслась утренняя песнь.

Но вот жгучее солнце над головами показало полдень. Колокола возвестили конец утренней пуджи (богослужения) в храме богини Кали, матери богов и людей. В двенадцати храмах Шивы брамины с низкими поклонами укладывали на отдых бронзовые подобия бога и ставили на их месте другие. Вместо трехглавого Шивы перед верующими появился шестиглавый сын его Субраманья с тремя парами рук; и другой мудрый сын Шивы — Ганеша — с огромной слоновьей головой; и божественная обезьяна Хануман — помощница богов. Перед всеми идолами люди благоговейно склонялись и воздевали руки; и брамины с поклонами ставили перед ними сладости и угощенья. А на воздухе становилось все

жарче, опьяняющий запах священного сада сливался с лесными благовониями, принесенными ветром. Ветер веял с юга. Вода в реке поднялась. Подобно летящим бабочкам, устремились разноцветные паруса по священной реке — образу Вечности. А над поверхностью воды густо выступили головки лотосов. Вечером их нежные лепестки свертываются и плотные чашечки погружаются в воду, а теперь они высоко поднялись над рекой, привлеченные ярким солнцем, и щедро раскрыли белорозовые и голубые соцветия, обещая людям радость, любовь и счастье.

Запад порозовел, потом побагровел, потом потемнел. Выступили звезды, и опять из храма послышалась музыка. Свирели и раковины вступили в дивном согласии, и, усиливая их певучие призывы, ударяли в лад барабаны и гонги торжественно, величаво и стройно.

Было далеко за полночь, когда раскатился на всю окрестность медный гул большого колокола. Он возвещал, что наступает священная ночь. Верующие отдадут эту ночь представлениям и пляскам, а божество будет радоваться на них.

Притихшая толпа полилась в большой зал, предназначенный для праздничных представлений. Гигантская бронзовая статуя заколебалась над головами: брамины понесли бога в зал, чтоб усладить его зрение видом священных танцев. Тысячи богомольцев кинулись на помощь браминам: многопудовый идол был, как вихрем, подхвачен, перенесен и водворен в огромном каменном зале.

— Пойдем глядеть на танцы, — позвал Афанасия Чандака.

В конце зала возвышался большой помост, и тысячи людей столпились перед ним, понизив голоса, притаив дыхание.

Единственным предметом, стоявшим на помосте, был большой пылающий светильник; в его огне курились благовония, и волны благоухающего дыма ходили по залу. Афанасию почудилось, что в колебаниях дыма возникают подобия каких-то неясных созданий, бесформенных и безликих, но полных таинственной жизни.

Поперек помоста протянулся большой занавес; его поддерживали руками несколько человек, стоя у краев. Среди них зоркий глаз Афанасия рассмотрел малень-

кую Камалу. Вцепившись руками в край занавеса, девочка прильнула всем телом к его складкам, и было видно, что никакая сила не оторвет ее оттуда. Позади занавеса грянула музыка и послышалось пение нескольких голосов. Сперва музыка была неистова, яростна, оглушительна; все известные индийскому народу инструменты работали одновременно и изо всех своих сил. Постепенно звуки становились мягче, стройнее, а пение все слаще, все призывнее, все глубже проникало в душу. Певцы воспевали правду любви и верность в разлуке. Сладкие голоса пели, что любовь вечна, а разлука мгновенна и что никакие силы обмана, лжи и коварства не помешают любящим соединиться. Афанасий не разбирал половины слов, но песня звенела надеждой и ликованьем, и хотелось ему слушать ее еще, еще.

Из-за занавеса невидимая рука выдвинула зеленую ветку. Вслед за ней появилась чудовищная голова с зеленым лицом в золотой высокой шапке. Она высматривала что-то в зале, вновь пряталась за занавес и опять появлялась. Наконец на помост выступил актер в зеленом широком и длинном платье, весь увешанный золочеными украшениями; драгоценности сверкали на его высокой, как башня, шапке, на шее, на пальцах, на подоле платья. За ним появились еще актеры, тоже в развевающихся, сверкающих золотом платьях, в причудливых шапках, с лицами, расписанными зелеными, черными, красными узорами. Одни из них испустили вопли, от которых заплакали дети. Другие запели сладкогласно, вкрадчиво и мягко. И все танцевали с неслыханным искусством. Это был царь и его придворные. Царь вернулся с охоты и рассказывал своим придворным обо всем, что видел и испытал. Он рассказывал без слов, только движениями, изображая все то, что его поразило.

И зрители из одних только его движений понимали все: как царя сбросил непослушный слон, как он затем встретился с тигром, как на него нападала змея, как он преследовал убегающую лань, и как лань привела его в сад, и как он встретил в саду прекрасную девушку.

Танцевали у царя не одни только ноги, в танцах полностью участвовало лицо, танцевали глаза, ресницы и брови, танцевал каждый палец руки. В этих искусных, многообразных, необычайно быстрых движениях зрите-

ли видели и тигра, и змею, и лань, и царя, разгоряченного охотой, и тот восторг, который ощутил он в волшебном саду, и ту любовь, которая зажглась в нем при виде прекрасной девушки.

А придворные танцевали свое. Они напоминали царю о том, что он обручен с царевной соседнего царства; и они говорили своими глазами, бровями, пальцами о том, как огорчится его невеста и как будет оскорблен ее отец. И угрожающими, наводящими ужас движениями ног, рук и лица они говорили о том, какая страшная истребительная война разгорится между обоими государствами, если царь будет упорствовать в этой своей новой любви.

Жесты придворных были как нельзя более убедительны, и они убедили царя. Он согласился забыть юную деву, которой обещал свою любовь, свой трон и свое царство. И, чтоб вернее забыть, он выбросил кольцо, которое она дала ему. И забыл.

Все это было рассказано в танце.

Придворные, добившись своего, удалились: и царь, прежде чем уйти, протанцевал танец одиночества, в котором каждое движение говорило о безнадежности и о нестерпимой тоске. И зрители плакали от сочувствия к нему, потому что у каждого человека ныла в душе своя рана, каждый хранил след какой-нибудь подавленной мечты, какой-нибудь обманутой надежды. А актер искусством своего танца разбудил и воскресил все это, и над толпой стоял несмолкаемый плач и крики сострадания. Наконец одинокий царь скрылся из виду.

Афанасий протер глаза: ему показалось, что на помост влетела стая белых журавлей и что они танцуют, колебля белые крылья, гибко качая черными головками. Но тут же он увидел: это не птицы, это выбежали девушки-танцовщицы. На них не было ни пышных платьев, ни золотых украшений; только куском белой ткани обернуты были их гибкие тела, а стройные плечи, и руки, и ноги оставались ничем не скрыты. В их черные волосы вплелись гирлянды белых жасминов; ногти на руках и ногах были ярко окрашены красной краской сандала. И эти красные пятнышки мелькали с немыслимой быстротой. Нельзя было глаз оторвать от этих прелестных плеч, рук и ног, от этих непрерывных, невозможно быстрых и несказанно красивых движений. Сре-



ди них была одна, которая не танцевала; она присела на землю, и в том, как опустились ее прекрасные руки, как поникла благородная голова, — во всем была бесконечная скорбь, усталость и безнадежность.

Девушки стремительно закружились вокруг подруги; своим танцем они напоминали ей, как прекрасна была встреча с царем, и убеждали ее, что скорбь рассеется и встреча повторится. Но она знала: он не вернется, кольцо брошено, она забыта, — и отчаяние ее не имело предела. И зрители, вся тысячная толпа, понимали ее, и женщины громко рыдали.

Покружившись, белые девушки удалились. «Одна-одинешенька осталась ты, лебедь белая, головушка твоя победная!» — молвил Афанасий, сам готовый запла-

кать — такой жалостью исполнилось его сердце при виде одинокой, припавшей к земле белой фигурки. Но она шевельнулась, она подняла свою поникшую голову, и он громко ахнул: «Да это Чандра!»

— Чандра, — подтвердил Чандака. — Сейчас она будет танцевать свой главный танец — молитву к богине Лакшми. Будет молить, чтобы богиня ей возвратила супруга.

Чандака мог бы и не объяснять смысла этого танца, и так было все понятно. Чандра порхала быстрее белой бабочки, она неслась плавно, как подхваченный ветром белый лепесток. Она поведала богине Счастья о своем неслыханном горе, и она молила небожительницу восстановить разрушенный брак, — ведь царь все-таки любит ее, смиренную деву, а не свою царственную невесту. Все это выразила Чандра несравненным искусством своего танца. При каждом движении ее изумительно быстрых маленьких ног с ярко окрашенными ногтями над помостом слышался тоненький звон, а когда ее мольбы Владычице Счастья стали пламенней и неотразимей, тонкий звон усилился, возрос во много раз и неземной музыкой пролился в зал. Сама покинутая любовь звенела и трепетала в этих серебряных переливах то одиноким замирающим лепетом, то множеством окрепших голосов.

— Откуда же это звон такой жалобный? Словно сама земля зазвенела! — добивался Афанасий.

— Это колокольчики на ее ногах, — прошептал Чандака.

— Колокольчики? На ногах! Чудо какое! Да как она вертит-то ими?

— Да, моя дочь танцует искусно, — согласился Чандака. — Но жена моя танцевала лучше. У Камалы на ногах было подвешено триста колокольчиков — и каждым она звенела отдельно. А у Чандры только сто.

— Сто колокольчиков! И каждый своим голосом говорит! Ну, чудо, просто чудо! Да постой, постой! Никак тот-то вернулся?

Он еще не вернулся, он еще был скрыт занавесом, но она уже ощущала его приближение. Богиня Лакшми сжалилась, она дала ей знак своей милости и обещала скорую встречу, — зрители прочитали все это в движениях маленьких ног Чандры и в быстрых мгновенных

изменениях ее невероятно выразительного лица. И когда из-за занавеса выдвинулась, сверкая золотом и алмазами, пышная фигура царя и Чандра восторженно простерла к нему руки и замерла на месте, весь зал отвечал криком радости, воплем восторга. Тысячи людей двинулись к помосту, двинулся и Афанасий. Он сам не помнил, когда это началось и как получилось, что он, выставив свое сильное плечо, напрягши крепкие руки, проталкивался к помосту.

Даже в этом тысячеголосом шуме Афанасий различил ликующий зов Камалы:

— Диди! О диди, ты танцевала лучше всех!

Камала все время была тут на помосте, укрытая складкой занавеса, все время простояла неподвижно, не отрываясь от Чандры взглядом. А теперь, победив очарование, освободившись, очнувшись, она бросилась прямо к сестре. Она раскинула свои детские, любящие руки, она хотела обнять Чандру, обхватить ее, свою диди, прижаться к ней близко-близко, крепко-крепко, почувствовать ее всю. Но Чандра не позволила.

Афанасий добрался уже до самого помоста и видел: Чандра тихонько отодвинула Камалу, тихонько ей что-то сказала на ухо и отвернулась. Обида, испуг, отчаяние — все это быстро, быстро сменилось на личике Камалы; и Афанасий сам испугался, когда увидел, как вдруг округлились в ужасе ее черные глаза.

Афанасий видел: Чандра легко спрыгнула с помоста и пошла прямо на людей, словно знала, что люди расступятся. Они расступились. Образовался проход. Словно продолжая свой танец, Чандра легко неслась по проходу, и сейчас же за нею толпа плотно смыкалась. На помосте уже началось новое действо, там уже танцевали новые странные облики в ярких одеждах, с ярко раскрашенными лицами, страшными, как маски. Все взгляды обратились только на них. На Чандру никто не смотрел, и она исчезла в людском многолюдстве.

Чандра пробежала так близко, что Афанасия на миг охватило сладким запахом жасмина от ее венка, и она не заметила, не узнала своего друга.

Но это его не смутило. Он понимал, что после такого танца она ничего и никого не видит.

Он хотел заговорить с нею, она не услышала. Он хотел остановить ее, она уже пробежала мимо. Она про-

бежала, и два людских потока сомкнулись за ней, и перед ним была уже плотная толпа, слитная, страшная в своем непонимании, в своем равнодушии к ним, — вся захваченная новой игрой. А Афанасия ничуть не трогало, что делается теперь там, на помосте. Ему нужно было только одно: отыскать глазами белый веночек Чандры. Но белый веночек скрылся за массой людей, и Афанасий тщетно пытался раздвинуть толпу. «Как дурной сон!» — подумал он, изо всех сил порываясь вперед и неумолимо оставаясь на месте. Он уже хотел кричать. он уж готов был взмахнуть кулаками, когда маленькие горячие пальцы ухватились за его руку.

— Афа-Нази! Скорей! — только и сказала Камала, и он с радостью ей подчинился. Девочка повела его не в ту сторону, куда убежала Чандра, не к выходу, — она потянула его вдоль помоста. Все ускоряя бег, Камала влекла его за собой; скоро они обогнули весь помост и уткнулись в стену. В стене оказалась маленькая запасная дверь. Камала налегла на нее — и они очутились в саду.

Даже после жары и духоты зрительного зала индийская ночь была и жарка, и душна. Сухой треск цикад слышался со всех сторон, покрывал отдаленную музыку. Танцы и представление, очевидно, длились очень долго; звезды уже погасли, и только вблизи от высокой луны горела алмазным блеском одна большая утренняя звезда.

— Афа-Нази! Скорей!

— Куда, умница?

— Туда. К реке.

Не так-то просто было пробраться к реке по густому незнакомому саду. Афанасий один, наверно, блуждал бы до утра. Но Камала разбиралась лучше; она успела, как видно, еще днем обежать все эти заросли и запомнила путаные проходы. Все же прошло не меньше получаса, пока они выбрались из густых зарослей тамариска и очутились на том низком, топком берегу, откуда вчера спускали в воду лампады. Луна уже бледнела, по воде бежала совсем расплывчатая и неясная лунная дорожка, а восток уже проступал еще тонким, еще не розовым, а белесым утренним светом. Афанасий всматривался до боли в глазах; ничего, ничего не было видно ни на берегу, ни на водной глади.

— Афа-Нази! — сказала вдруг Камала. — Сюда не надо.

— Что еще? А куда же надо?

Афанасий задыхался, руки его дрожали. Камала тоже дрожала, как в лихорадке, но говорила она, как взрослая — повелительно и сурово.

— Куда же? Куда же? — повторял, как потерянный, Афанасий.

— На праягу.

— Что за праяга такая?

— Это — где впадает приток. Там приносят жертвы. Там молятся. И там... — она запнулась немного. — Там, люди говорят... там когда-то утопился старый-престарый царь.

В утреннем полусвете он пристально посмотрел девочке в глаза. Глаза были бездонные, черные, как у Чандры.

— Да что она сказала тебе?..

— Когда?

— Когда ты к ней подошла после танцев? Перед тем, как убежать?

— Она сказала: «Прощай, сестра. Боги зовут меня».

— Ну, дело, — вымолвил Афанасий. — Идем туда, на ваше моленное место.

Он опустил руку в воду.

— Ой, и холодна же! Прямо лед. И течение быстрое... Должно быть, с горы течет... Где же это место? Ниже или выше?

— В той стороне — храм, — указала Камала. — Надо идти вон туда...

— Что ж, идем, коли так. Устала, Воробушек? Хочешь, на руках тебя понесу?

Девочка отстранилась и снова совсем по-взрослому, сдержанно произнесла:

— Побереги силы.

Прошло еще полчаса, пока, увязая на топком берегу и пробираясь сквозь густой бамбук, они подошли, наконец, к тому месту, где тихая Кристна принимала в себя широкий и глубокий приток. Здесь топкие места кончились, почва стала тверже, стрелка между двумя реками пошла в гору и закончилась крутым обрывом. Задохнувшись, с бьющимся сердцем, Афанасий остановился над кручей. Река, усиленная притоком, разлилась

вдаль и вширь. Разгоревшееся утро позолотило, разрумянило водный простор, и на всей этой широкой и тихой розовой равнине не видно было ни лодки, ни человека.

— Афа-Нази! — вскрикнула вдруг Камала. — Афа-Нази! Там!

Она не могла выговорить ничего другого, — губы ее не смыкались. Рука ходила ходуном, но все-таки она указывала этой дрожащей рукой куда-то недалеко от обрыва, на какую-то точку на розовой глади вод.

— Афа-Нази! Афа-Нази! Там! Там!

Колеблемый еле заметной зыбью, кружась на одном месте, в розовой утренней реке плавал жасминовый белый веночек.

— Ладно, бог милостив. Сбегай-ка, кликни людей, — ровным голосом сказал Афанасий.

Камала оглянулась на него. Он уже скинул сапоги и снимал рубашку.

— Людей? — прошептала она, все больше и больше дрожа.

— Ну да, позови, кого встретишь. Да не бойся ты, девочка, не дрожи. Мне не в первый раз, слышишь, что ли? Ты не гляди. А всего лучше — сбегай-ка ты поскорей за отцом.

Камала поняла его, но у нее не двигались ноги. Она закрыла глаза. Потом услышала сильный всплеск. Потом были слабые всплески. Потом ничего не стало слышно. Тогда она все-таки открыла глаза. Афанасий, сильно работая руками и ногами, бурля и пеня воду, уже близился к белому веночку.

Камала видела, как он нырнул, как река сомкнулась у него над головой. Это длилось нестерпимо долго. В ту минуту, когда Камала подумала, что больше уже не может, вода опять закипела, забурлила, и над валами поднялась потемневшая голова Афанасия. Он плыл к берегу, но медленно и криво, неровно; Камала поняла: он гребет одной рукой. А другая его рука держит что-то большое, темное. Камала страшно вскрикнула, и, точно силы вернулись к ней с этим криком, ноги ее оторвались от земли; и, закричав еще раз тем же страшным пронзительным криком, она побежала к храму, призывая на помощь отца.

Афанасию не раз доводилось на Волге спасать утоп-

ленников, и он знал всю сноровку: подплыл — оглуши кулаком, чтоб не барахтался, сгреби его за волосы и тащи. А здесь было все по-другому. Уж очень ледяная вода: руки и ноги свело... Дно, по счастью, оказалось неглубоко. Он быстро нашел небольшое тело Чандры. Но оно не шевелилось. И, когда он добрался до берега и положил Чандру на прибрежный песок, она была неподвижна. «Сильно воды наглоталась. Откачивать надо, а тут никого...» И он положил ее вниз лицом и начал, как умел, приводить в чувство. Только, видно, он и сам наглотался воды, или так уж, от всего вместе, причинилось ему ума помраченье, — только к горлу подошла тошнота, в ушах начался нестерпимый звон, заходила зелень в глазах, и как подкошенный повалился Афанасий на желтый речной песок.

Глава V

ДОМОЙ, ДОМОЙ!

Когда же очнулся, хлопотали вокруг него индийские люди. Черноглазые девы в жасминовых венках — те самые, что плясали на празднике, — растирали ему руки и ноги, умащали соком душистых трав. Придя в себя окончательно, понял он, что его унесли с берега и что лежит он в высокой и светлой храмине. Под него подостланы шелком и золотом шитые одеяла, и черноглазые девы подносят к его устам чару чеканного серебра с какой-то пахучей настойкой. Говорят с ним ласково, нежными голосами. Просят его отведать какого-то горячего блюда. А поблизости играет сладкая, прямо райская, тягучая музыка... «Помер я, что ли? На тот свет похоже...» — догадался Афанасий. Приподнялся на локте — надо же как следует рассмотреть, как оно на том свете, — глядь, а из углов прекрасной и светлой храмины пялятся на него страшные обличья индийских богов. Вот те на! Чуть не плюнул Афанасий — до того неохота ему теперь смотреть на эту нечисть... Кряхтя, через силу повернулся на другой бок. Еще того лучше! Над его шелковым, златотканым ложем склонился старик с лицом орла. Сам Гуру? Он! Его желтые глаза с заботой — да, с заботой, с лаской! — смотрят на Афанасия...



Что еще за чудеса? Или сонное мечтанье одолевает? И Афанасий на всякий случай тихонечко себя ущипнул.

— Лучше ли тебе, сын мой? — спросил Гуру, коснувшись горячего лба Афанасия.

— Чандра жива? — вместо ответа спросил Афанасий.

— Чандра жива, — бесстрастно вымолвил Гуру. — Боги не приняли ее жертвы. Брамины взяли ее в храм. Теперь она — девадаси. Будет жить в храме и танцевать во славу богов. Ей хорошо. А тебе как? Не болит ли грудь? Голова не болит ли?

— Спасибо тебе, святой человек. Мне не худо. Отдыхает грешное тело.

— Грешное? Грехи твои все утекли со струями священной реки. Когда ты погрузился в ее светлые воды, с тебя смыло все прегрешения.

«Господи Исусе! Никак я в индийские святые угодил? Только того не хватало...»

А Гуру бубнит свое:

— Не беспокойся о себе. До конца жизни твоей можешь оставаться здесь, при храме. И заботы наши о тебе не ослабеют.

— За заботу спасибо... Только до конца жизни я не располагаю здесь оставаться, — мрачно произнес Афанасий. — Нет уж, хватит! — прибавил он про себя. — Довольно с меня этой Индии!.. Домой скорее, домой!

И закрыл глаза, чтоб не говорили с ним больше. Грудь-то и в самом деле сильно болела, и голову разламывало, и в лопатку кололо. Грехи грехами, а купанье в ледяной воде, как видно, даром не прошло... К вечеру начался озноб; Афанасия трясло и подбрасывало, как на качелях, и он не в силах был проглотить лекарства, которые вливали чьи-то заботливые руки в его посинелые губы. Его обложили грелками, но скоро он сорвал и разбросал их; озноб сменился нестерпимым жаром, все тело как будто плавилось в огне, а в лопатку словно гвоздь вбивали. Так промаялся он с месяц, а потом встал — отощавший, постаревший, — заправил под шапку поредевшую копну золотых волос, пригладил отросшую светлую бороду и пошел по дороге к Бидару.

Спотыкаясь, шатаясь, он неделю шел по этой дороге, теперь безлюдной и пыльной. Бурая пыль густо покрыла его одежду, лицо и руки. Он шел по этой стране и прощался с каждым камнем и с каждым ручьем, с белыми

попугаями и с черноокими газелями; он знал, что теперь увидит их только во сне. Но знал он также, что ему перестанут сниться деревянная Тверь, и волжские перекаты, и дубовые подмосковные рощи, — он увидит их, увидит воочию! Трудный путь повернул к дому.

После болезни голова ослабела — не сразу он припомнил улицы Бидара, не скоро нашел хижину Чандаки. А когда взошел на светлую галерейку, громко вскрикнул от неожиданности: ему показалось, что в углу над прялкой, завернувшись в свое желтое сари, сидит Чандра. Но тут же он увидел свою ошибку: это была Камала. Она подросла, край желтого сари был накинут на голову, как у взрослой, и из складок желтой ткани смотрели на него такие же глаза, как у Чандры, — доверчивые, любопытные, большие глаза под прямыми черными бровями. Это была вторая Чандра; правда, нос был широковат, рот великоват, но глаза сияли и очаровывали. Афанасий растерянно смотрел и не знал, как с ней говорить: как со взрослой или как с ребенком.

— Афа-Нази! Как ты похудел! — щебетал прежний звонкий голос. — Какая борода выросла! А можно потрогать? А сколько пыли у тебя в бороде! Подожди, сейчас принесу воды. Тебе надо умыться.

— Вот ты какая стала... — говорил Афанасий, с радостью слушая ее веселое щебетанье. — Большая! Нарядная!

— Мне теперь полагается носить покрывало. Отец говорит, я достигла брачного возраста, — степенно пояснила Камала и скромно, по-взрослому опустила глаза.

— Не рано ли? — сказал Афанасий. — Хотя ведь у вас с восьми лет брачный возраст. Ну что ж, дело доброе. Пора своим домком заводиться.

— Да нет, Афа-Нази, что ты! — Камала опять мгновенно превратилась в ребенка. — Это только так говорится про возраст. А я совсем не хочу замуж. Мне жалко отца. Он тогда совсем один останется. Ведь Чандра больше не будет жить дома.

— А что же она, осталась в Парвати?

— Да. Брамины говорят, что богиня Лакшми очень полюбила ее танцы.

— Ваши брамины наговорят! — досадливо сказал Афанасий. — Просто им выгодно, что народ валом повалит. Где еще такой пляс увидишь?

Камала искоса на него поглядела.

— Только ты, Афа-Нази, отцу этого не говори. Он таких слов не любит.

— Ладно, сдержусь. А что, отец гневается, наверно, на меня?

— Сначала сердился, потом перестал. Гуру сказал, что боги все равно простили маму, потому что Чандра ее теперь заменила в храме.

— Эх! — махнул рукой Афанасий. — Было бы ему с самого начала эдак сказать...

— Нет, он не знал, — заступилась Камала, — он не думал, что Чандра так хорошо танцует. Когда Чандра танцевала покинутую деву — помнишь, ночью, на празднике, — Гуру все время стоял за занавесом, а я прижалась к самому занавесу и слышу, как он говорит: «Моя Камала вернулась! Вернулось мое дитя!» Он раньше так называл нашу маму: мое дитя.

— А что его не видать, Гуру вашего? Или, может, он тоже в Парвати остался?

— Нет. Гуру теперь саниансин.

— А что это такое саниансин?

— Это... такие старики. Отец говорит: саниансин — это тот, кто все оставил, отказался от всех желаний, кто больше не любит и не ненавидит.

— Так. Схимники, значит. У нас на Руси тоже есть такие старцы. Каждый по своей вере спасается. А какая вера правая, одному богу известно.

— Ты... на Русь собираешься, Афа-Нази? — догадалась Камала. — Ты хочешь уйти от нас?

— Хочу, Воробушек. Просто мочи нет, как хочу. Сплю и вижу — домой, на Русь. Дороги все перехвачены, кругом война, султаны воюют; из Бидара, видела, какое войско вышло? Я как раз встречу шел: слоны, всадники, стрелки с луками, пешие люди с мечами... Тысячи, тысячи! И все на войну. На битву. А мне — все едино. Пойду.

— Не ходи, Афа-Нази! Тебя убьют.

— Двум смертям не бывать, а одной все равно не миновать. А может, и не убьют. Меня не просто убить, моя смерть далеко запрятана.

— Правда?

— Нет, сказка. Да я ведь и всю жизнь живу будто как в сказке. Эту вот вашу Хинду рассказать на Руси...

Парвати эту... Или хотя бы про Гуру... Кто поверит? Всякий и каждый подумает — сказка.

— Афа-Нази, не уходи! Поживи с нами хоть немного. До сих пор у нас все были страшные сказки, а теперь начнется веселая, хорошая. Ты увидишь. Только не уходи.

— Нет, не проси. Я ведь только с тобой попрощаться забрел. Надо идти. Пойду. Ну, счастливо оставаться. Здрава буди, Авдотья Никитична.

Сам не знал Афанасий, как, почему он назвал эту девочку полным именем и отчеством своей сестры. Видно, родные звуки милого имени где-то подспудно томились в памяти, не давали покоя душе, — надо было хоть ненароком их произнести. Сказав это имя, Афанасий низко поклонился Камале. А потом поник головой и глубоко-глубоко задумался. Он опомнился только, когда Камала радостно воскликнула:

— А вот и отец! Подумай, не узнает тебя! Отец, отец, ведь это наш Афа-Нази! Посмотри на него! Посмотри по-прежнему!

Чандака посмотрел по-прежнему — и они с Афанасием обнялись крепко, по-братски, как самые дорогие и близкие друг другу люди.

Все же прошла еще неделя, пока Афанасий собрался в путь. Крепко уговаривал его Чандака повременить; пугал, что кругом смута и война, что море в это время года непогоже и неспокойно, — Афанасий слышать ничего не хотел. «Домой, домой! — повторял он. — Четыре года на Руси не был. Сколько еще тянуть? Здоровье уже не то! Старость, видно, подходит. Хочу дома помереть». И Чандака согласился: «Да, человеку всегда лучше закрыть глаза на том же месте, где он открыл их».

И, крепко расцеловавшись со своими друзьями и вытерев неутешные слезы Камалы, Афанасий пустился в путь по индийским городам — по прекрасным, как видение, городам, богатым сердоликами и алмазами, по городам, залитым кровью и охваченным пожаром войны.

И, наконец, он в гавани города Дабула, садится на таву. Последние монеты отданы за проезд на таве, за переправу через море. С собой — маленький запас рису и перцу и заветная тетрадка. В ней описаны индийские

междоусобные войны, описаны блистательные войска султана Махмуда и визира Мелик аль Тучара, описана пышность вельмож и бедность крестьян. О Индийская земля! Не с насмешкой высокомерного невежества, а с теплой любовью пытливого ума прочтут описание это люди далекой-далекой Руси...

А ветер гонит утлую таву вперед по волнам, а волны вздымаются словно горы... Море грозит. Гибель смотрит отважным пловцам в глаза. Вот, наконец, и берег. Индийское море позади.

Но еще не кончилась страшная сказка! Берег не тот. Изменившийся ветер пригнал легкую таву вместо Персии к Эфиопским горам. Ради спасения жизни последний рис, последний перец отданы эфиопским грабителям. И с железным упорством тава спущена снова на волны; опять плыть, опять смотреть смерти в глаза... О Русская земля! Ты еще далеко...

От Эфиопской стороны плыли двенадцать дней до Маската; от Маската девять дней до Ормуза. Из Ормуза — в Персию. Вот и Хвалынское море осталось позади. Один за другим мелькают персидские города. Шираз, Иезд, Исфагань, Кашак, Султания, Тавриз... А тут опять война. Турки — с персами, туркмены — с туркменами, жгут города, грабят села — и везде, потоками, кровь...

Ранней весной покинул Афанасий Индию, а лишь глубокой осенью добрался до турецкого города Трапезунда. Из Трапезунда отплыл на корабле в Кафу — город на Крымском полуострове[1]. И опять повторяется страшная сказка: противный ветер с неистовой силой гонит корабль обратно к Трапезунду. Дважды приходится возвращаться. А силы тают. И бок болит, и в спину колет; и жар, и озноб возвращаются снова — вся эта хворь, вывезенная еще из Парвати.

Побеждает несгибаемая воля. И третье море — Черное море — позади. Под ногами хрустят поросшие полынью пески Крымского берега. Балаклава, Гурзуф, Кафа... Ну, теперь уж, наверное, самое страшное не повторится! Только бы хватило силы дойти до Твери! И не обронить, не выпустить из слабеющих рук заветной тетрадки!

---

[1] К а ф а — древнее название Феодосии.

В МОСКВЕ

Перенесемся в Москву.

При московском великом князе Иване III состоял помощником по письменной части не старый еще, но опытный дьяк Василий Мамырев. Толковый и исполнительный деятель этот занимался не только текущей перепиской — он участвовал в строительстве городов, в частности, ему было поручено великим князем отстроить город Владимир. Мамырев интересовался и исторической наукой, в тех ее формах, которые были возможны для его времени. Под руководством Василия Мамырева составлялась летопись (сборник исторических материалов). Это была сводка заметок, наблюдений и воспоминаний об исторических событиях XV века. Материалы для этой работы составитель получал из разных рук; иные разыскивал сам, другие приносили ему добрые люди. Вот так однажды смоленские гости (купцы), приехавшие по делам в Москву, принесли дьяку Мамыреву любопытные тетради. Тетради эти были все заполнены одним почерком, и содержались в них чьи-то записки — описание какого-то путешествия в Индию.

Об Индии в то время было известно очень мало. У Мамырева проснулось любопытство:

— Чьи тетради-те?

— Тверитин написал. Афанасий Никитин сын. Купец тверской, — ответили смоленские гости.

— Сам писал? Своею рукою?

— Своею. Его рукой писаны все тетради. Пока не помер, все писал, — сообщали смоляне.

— А помер когда? — осведомился москвич.

Гости позамялись.

— Недавно. Шел от Индийской земли и, не доходя Смоленска, преставился, — подал голос один гость помоложе.

— А когда он на Индию ходил?

— Там написано, — неуверенно ответили смоленские.

Дьяк полистал тетрадь.

— Тут сказано — пошел со Василием с Папиным. А когда это было?

Никто не знал. Дьяк Мамырев встал и вышел в соседнюю горницу приказной избы (канцелярии), где хранились дела и бумаги прежних лет.

Вернувшись, он сказал:

— По справкам оказалось: был Василий Папин послан от великого князя московского к Ширван-шаху персидскому с кречетами. Отвозил подарок от великого князя. А было это за год до Казанского похода. — Подумал, подсчитал и объявил: — Стало быть, пробыл сей Афанасий Тверитин в Индии примерно четыре года. Весьма любопытно, чего он там навидался и о чем написал.

— Всякого навидался,— неопределенно ответили гости. — Обо всем написал.

— А не привез он с собою товару? Хоть горсточку на образчик? Добра после него не осталось ли? Кулька либо вьюка какого?

— Нет, ничего. Голый пришел. В чем помер — в том и схоронили. Не оставил ничего, окромя писания этого, тетради.

— Четыре года в Индии был и добра не нажил! Плохой, видно, купец. — Удивлялся дьяк. — Может, клад где закопал? Не каялся перед смертью? Не указывал места?

— Ничего не указывал. Помер в жару, в бреду.

— Кто был при сем? Да не бойтесь вы, говорите!

— Я был до смерти при нем. Я ему и глаза закрыл, — неохотно отозвался смолянин помоложе.

— Так ничего дельного и не сказал? — допытывался дьяк. — Чем хоть бредил-то он, припомни?

— Дельного не сказал ничего. А бредил невнятно. Словно бы и не по-русски. Все больше карму какую-то поминал. Индийская девка, что ли. Утопилась, что ли, она.

— Непутево жил, непутево и помер, — наставительно вымолвил дьяк. — За три моря ходил, а, кроме индийских девок, ничего не высмотрел.

— Изволь, ваша честь, поглядеть тетради-то, — возразил молодой смолянин. — Там немало указано про индийский торг. Какие индийские товары пригодны для русского торга.

— Вон что! — глаза у Мамырева блеснули. Он еще раз перелистал тетрадь.

— Правда твоя!

— «А до Цейлона идти морем два месяца. В Шабате же родятся шелк, фарфор, жемчуг, сандал... В Кали-

куте родятся перец, мускат, гвоздика... Почку алмаза продают по пять рублей, а очень хорошего — по 10 рублей... А от Шабата идти посуху 10 месяцев, а морем 4 месяца на больших судах...» — с удовольствием медленно читал Мамырев. Он благодушно погладил свою недлинную русую бороду.

— Что ж, нам это годится. Ну, спасибо, честные господа, что потрудились — привезли сие рукописание. И от великого князя будет вам благодарность. Доложу ему. Почитаем, а если что путное найдем, — перепишем.

И по распоряжению дьяка Мамырева приказные писаря переписали тетради Афанасия Никитина в Московскую летопись под 1475 годом.

Через триста пятьдесят лет эту летопись (называемую Троицкой) нашел крупнейший русский историк начала XIX века Н. М. Карамзин, работавший в то время над своей многотомной «Историей государства Российского». И тогда получило широкую известность «Хождение за три моря» Афанасия Никитина — трудовой подвиг мужественного, умного и бескорыстного путешественника.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

ТАГЕР ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

Повесть об Афанасии Никитине

Ответственный редактор Г. П. Гроденский.
Художественный редактор Э. Е. Бордзиловская.
Технический редактор Т. С. Филиппова.
Корректоры Ю. А. Бережнова и К. Д. Немковская.

Подписано к набору 11/XI 1965 г. Подписано к печати 29/I 1966 г. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бум. № 2. Печ. л. 3,25. Усл. п. л. 5,46. Уч.-изд. л. 5,3. Тираж 50 000 экз. ТП 1966 № 532. М-08045. Ленинградское отделение издательства «Детская литература». Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Заказ № 701.

Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Комитета Совета Министров РСФСР по печати. Ленинград, 2-я Советская, 7. Цена 26 коп.